

РАИСА ОРЛОВА

ПОСЛЕДНИЙ

ГОД ЖИЗНИ

ГЕРЦЕНА

CHALIDZE PUBL. NEW YORK 1982

РАИСА ОРЛОВА

ПОСЛЕДНИЙ

ГОД ЖИЗНИ

ГЕРЦЕНА

CHALIDZE PUBL. NEW YORK 1982

Raisa Orlova

THE LAST YEAR OF HERZEN'S LIFE

Copyright 1982 by Chalidze Publications

**Published by Chalidze Publications
505 Eighth Avenue
New York, N.Y. 10018**

Manufactured in the U.S.A.

ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЖИЗНИ ГЕРЦЕНА

В Женеве есть таблица на доме, где жил Ленин. И есть таблица на доме, где жил Достоевский. А на тех домах, где жил гражданин кантона Фрибург Александр Герцен, таблицы нет.

Герцен прожил на Западе 23 года. Создал вольную русскую типографию, первый свободный журнал "Колокол", написал великую книгу "Былое и думы", участвовал в политической борьбе своего времени.

Но сегодня его мало знают во Франции и в Швейцарии, в Германии и в Англии.

Между тем трудно найти в истории человека, в жизни которого ярче, нагляднее, воплощалась бы связь России и Европы, связь мучительная, исполненная любви и ненависти, взаимопритяжения и отталкивания.

Связь, воплощенная в нестаревшем герценовском слове, столь необходимом сегодня, когда сотни русских интеллигентов уехали, подобно Герцену, в поисках свободы в Европу. И, подобно Герцену, тоскуют по родине, проклинают ее или идеализируют, пытаются осмыслить ее историю и ее сегодняшний день.

Моя работа написана в Москве, — я не предполагала, что мне придется искать герценовские дома в Женеве.

Работа посвящена частному вопросу, — последнему году его жизни. Я стремилась возможно полнее восстановить тот голос, который так нужен сегодня миру.

Вершиной жизни Герцена было пятилетие с 1857 по 1862 год, — основание и взлет русской печати за границей. "Колокол". "Былое и думы".

Но была у него и вторая вершина, — остающаяся в тени, — тысяча восемьсот шестьдесят девятый год.

Герцен проходил испытание более суровое и трудное, чем испытание славой.

Испытание надвигающимся крахом, старостью, болезнями, предчувствием смерти.

Характер обнаруживался еще полнее, чем в то пятилетие.

Всю предшествующую жизнь, каждый год Герцен, прожив, обдумывал. И писал о прожитом. В словах закреплялись и открытия и сомнения.

Последний год схвачен лишь в письмах и в нескольких работах; важнейшая (эпистолярная) — Письма "К старому товарищу".

В необъятной литературе о Герцене последний год обычно лишь кратко упоминается.

Совсем недавно был едва ли не вторым императором России ("Александр в Петербурге и Александр в Лондоне", как тогда говорили). Теперь, — в 1869 г. —, один из бесчисленных русских заграницей.

Он по-прежнему опутан сложной системой обязательств: перед женой, перед другом, перед детьми.

Кончались шестидесятые годы. Историкам, современникам, самому Александру Ивановичу казалось, — и не без оснований, — время Герцена кончилось. Ритм русской истории и ритм его собственной жизни перестали совпадать. Шла плеяда новых людей. И не в идеальном облике Рахметова, героя романа "Что делать". И не в облике автора этого романа, Чернышевского, хотя Чернышевский, породил молодых русских бунтарей XIX века еще в большей мере, чем сам Герцен.

Нарастающий спор с молодой Россией, с молодой эмиграцией стал в 1869 году поединком — столкновением Герцена и Нечаева.

Тогда казалось, что победил Нечаев. Так может показаться и сегодня: осенью 1980 года в Цюрихе молодые бунтари разбили витражи Шагала в Фраумюнстер кирхе. Думаю, все же, что в исторической перспективе победа — правда на стороне Герцена.

Тогда все зашаталось, начало рушиться.

Во втором браке не было ни счастья, ни дружбы, ни опоры.

Произошел распад среды; не первый, но самый болезненный.

Впервые возникла трещина в дружбе с Огаревым.

Герцен выстоял, остался самим собой.

Победитель в момент поражения: не сильнее ли это, чем победитель в момент победы, когда каждое твое слово встречается подхватывающим отзвуком?

Жизнь Герцена — историческая трагедия. Первым это заметил, кажется, П. Анненков. "... если чья судьба может называться трагической, то, конечно, его судьба под конец жизни".

Тысяча восемьсот шестьдесят девятый год — пятый акт трагедии. Герцену предначертано было прожить этот акт, но не дано — о нем написать.

Социальное, семейное, дружеское, литературное, — прошлое и настоящее —, все слилось неразрывно.

В 1869 году Герцен жил в Ницце. Его друг с детства, единомышленник, соратник Николай Огарев жил в Женеве. Они разговаривали друг с другом языком XIX века, — письмами.

Огарев - Герцену, 1 апреля 1869 г., из Женевы в Ниццу.

Вчера пришло на твое имя письмо с просьбой напечатать послание к студентам от одного студента, только что удравшего из Петропавл (овской) крепости. Послание, может, немного экзальтировано, но не печатать нельзя; по моему глубокому убеждению, оно, во всяком случае, поворачивает на воскресение заграничной прессы. Через некоторое время его можно будет напечатать в новом прибавлении к "Колоколу" ... Мне так что-то страшно... * *

* "Литературное наследство," т. 39-40, стр. 545, 546, 547-48.

"Послание" — это прокламация Сергея Нечаева!

Студентам Университета, Академии и Технологического Института.

Выбравшись, благодаря счастливой удаче, из промерзлых стен Петропавловской крепости, на зло темной силе, которая меня туда бросила, шлю вам, мои дорогие товарищи, эти строки из чужой земли, на которой не перестану работать во имя великого, связывающего нас дела.

Герцен – Огареву, 3 апреля.

Приб(авление) к "Колоколу" – будто возможно? Не лучше ли так пустить листком или сказать в подст(рочной) заметке: "Нам прислали в "Кол(окол)"..."

Собр. соч., т. XXX, 75

Огарев – Герцену, 3 апреля.

А студенческое послание, саго тію, очень юно, очень юно, не менее напоминает и свою молодость и подает надежды на новые силы.

Герцен – Огареву, 5 апреля.

...прокламация к студентам не того – просто шлехтодыровато.

Собр. соч. т. XXX, 77

Огарев – Герцену, 7 апреля.

Пишу тебе несколько строк, мой новорожденный. – Русский юноша приехал на несколько дней. Вчера я его передал – Бак(унину) – Не думаю, чтоб было что очень широкоразвитое, но развита энергия и многое узнается и увидится нового – в этом я почти уверен...

...Из слов приезжего, из теперешнего преследования студентов, закрытия Мед(ико)-Хирургической академии... очевидно, что заграничная печать скоро понадобится...

Герцен – Огареву, 10 апреля.

Получил воззвание к студентам, которое не одобряю. Если оно напечатано (хотя и не нужно было печатать с

...Баричи будут всегда против всякого сплочения.

Вы будете крепки, друзья, когда очиститесь от этой сволочи, разжиревшей от сытых блюд, составленных из крох, что вырваны из мужичьих рук...

...Знайте, друзья, что ждут они (недовольные – Р.О.) не говорунов, не проповедников во фраке, а деятелей, которые сумели бы доказать им фактически свою преданность.

(цит. по А. Кункль – Сергей Нечаев, 1929 г.)

печатного), то так и рассылайте, т.е. не печатайте, что это прибавление к "Колоколу"...

Собр. соч. т. XXX, 86

Познакомившись с Нечаевым, Огарев решил, что необходима листовка, обращенная к студентам, подписанная им, Герценом и Бакуниным. Составил проект.

Огарев — Герцену, 12 апреля.

Я не думаю, чтобы ты имел что против, она сегодня пошла в печать... младшими я больше доволен. Они, пускай еще диче, но только потому, что мужики; но отнюдь не самолюбивы, видя своих отцов в декабристах говорят немного, а работают честнее и решительнее.

Бакунин — Гильому, 13 апреля.

У меня сейчас один из таких молодых фанатиков. Они замечательны, эти юные фанатики: верующие без Бога и герои без фразы...

Герцен — старшему сыну Александру, во Флоренцию, 17 апреля. (рассказывает о волнениях студентов)

...разумеется, часть из них будет исключена, несколько погибнут — но борьба, всякая историческая борьба и вырабатывание — идет этим путем. Собственно, в жизни, кроме понимания, борьбы и Eingreifen в современное дело — и нет ничего, кроме личных счастья. That is my humble philosophy.

Собр. соч., т. XXX, 88

"Личное счастье" — это сыну, но не только сыну. Это и себе, о себе, о своей молодости и о том, чего так мучительно не хватало весной 1869 года.

У Герцена было трое детей от первой жены: Александр, Наталья (Тата) и Ольга.

Двадцатидевятилетний Александр — ученый-физиолог — давно живет отдельно. Он женат, молодожены ждут ребенка. У него подолгу гостит Тата. Ольгу взяла на воспитание Мальвида фон Мейзенберг, приятельница Герцена. Любя девочку по-матерински, она, однако, отдала ее от отца, сделала из нее иностранку.

Умирая жена просила беречь детей. Герцен поклялся, но не сдержал клятвы.

В 1856 году, когда Огаревы приехали в Лондон, молодая Натали Тучкова-Огарева влюбилась в Герцена. Огарев проявил поразительное великодушие. Но его отстранение не принесло добрых плодов. С каждым прожитым вместе с Герценом годом росла требовательность Натали, раздражительность, неудовлетворенность. Герцен, на короткое время принявший свой ответный порыв за любовь (сама Натали точно назвала его чувство к ней "вспышкой усталого сердца"), вскоре понял, что ошибся, но было уже поздно.

Огарев с печалью и ужасом смотрел на то, как двое близких ему людей не способны понять друг друга, ранят, мучат.

Прошло двенадцать лет, но отношения с Натальей Алексеевной еще скрывались от посторонних. Трое детей от первой жены с мачехой в разладе.

В 69 году Герцен просил старшую дочь:

...Скажи ей (Ольге), что никогда, ни одного дня не было лжи в отношении Огарева. — Совсем напротив, ни одного обмана, ни одного объяснения не было с ним...

Собр. соч., т. XXX, I 135

Внутри лжи не было, но ситуация оставалась ложной. От этого страдали все трое, больше всех — Наталья Алексеевна. Она просила, требовала, — узаконить существующие отношения, по крайней мере — перестать скрывать их от близких, от старших детей. Мужчины сначала боялись давать "козырь" многочисленным врагам: у издателей "Колокола" — "общая жена". Боялись, что скажут русские родные, а от них отчасти зависели деньги. Но больше всего опасались ранить детей, — они тогда были еще малы.

В Нище — очередное временное пристанище 1869 года — с Александром Ивановичем и Натальей Александровной жила их дочь, двенадцатилетняя Лиза. Двое близнецов погибли в 1864 году от дифтерита. Лиза все еще носила фамилию Огарева, его называла папой. Впрочем "папа Ага" — так называли его все дети Герцена.

Герцен — Огареву, 2 февраля 1869.

...Обрывается все на мне. Что впереди — я издала не знаю и иду с завязанными глазами. Жизнь частная погублена, с этими элементами и не мне чета мастер ничего не спит. Время идет, силы истощаются, пошлая старость у дверей... Мы даже работать продуктивно не умеем — работаем то невпопад, то для XX столетия..."

Собр.соч., т. XXX, 34

Огарев, вскоре после того, как молодая жена ушла к Герцену, увлекся "погибшим, но милым созданием" — англичанкой Мери Сазерланд. Почти неграмотной. Вплоть до его смерти она вела хозяйство, ухаживала за ним, больным, — он продолжал пить, учащались эпилептические припадки, — была нянькой, возлюбленной, подругой. Огарев к ее сыну Генри относился по-отцовски, у них воспитывался и незаконный сын Саши Герцена — первый внук Александра Ивановича — по прозвищу Тутс.

Анна Григорьевна Достоевская, вспоминая о поездке с мужем за границу, рассказывает о Женеве 1868 года:

Знакомых в Женеве у нас не было почти никаких... Из прежних он (Ф.М.) встретил одного Н.П. Огарева... Он часто заходил...

Федор Михайлович ценил многие стихотворения этого душевного поэта, и мы оба были всегда рады его посещению. Огарев, тогда уже глубокий старик, особенно подружился со мной..."

В 1869 году Огареву — 56, Герцену — 57 лет.
Для XIX века — старость.

Все настойчивее мысль о конце "Колокола".

Герцен — Огареву, 23 июля 68 г.

...жестокость останавливается все больше и больше, мы вяло толчем воду, окруженные ерническим смехом и подлой завистью. Россия глуха. Посев сделан, она прикрыта навозом — до осени делать нечего.

Собр. соч., т. XXIX, 2, 416

Герцен — французскому историку Кине, 8 января 69 г.

мне всегда казалось, что остановиться вовремя — вещь необходимая, без "memento mori" со стороны хора. Не ожесточение врагов наших заставило нас решиться заткнуть голос нашему "Колоколу" — а безразличие наших друзей, отсутствие всякой нравственной поддержки.

Собр. соч., т. XXX, 11

Первого декабря 1868 года было написано открытое письмо Огареву о приостановлении газеты. Пятнадцатого декабря сдали в печать последний, двойной номер.

Позади — вершины. Позади — почти пять лет, когда каждый день подтверждал: "Вы нужны!"

Приезжали близкие, прокрадывались шпионы, поддерживали друзья, проклинали враги, — все внушало веру в себя, в необходимость своего дела.

Россия была наводнена лондонскими изданиями. Петр Кропоткин вспоминал, как в 1862 году помощник иркутского губернатора генерал Кункль повел его к себе и показал полную герценовскую коллекцию.

Когда "Колокол" гремел, Ф. Тютчев написал князю Горчакову записку "О цензуре в России"

(ноябрь 1857 г.). Поэт и государственный деятель — старший цензор Министерства иностранных дел, — понимал, что возникновение безконтрольной печати за границей — "явление бесспорно важное. Было бы бесполезно, скрывать уже осуществившиеся успехи этой литературной пропаганды". Единственным оружием противодействия, — так полагал Тютчев, — могла быть лишь свободная газета в России. И для такой газеты не будет недостатка в талантах. Но они "должны быть убеждены, что призываются не к полицейскому труду, а к делу, основанному на доверии", делу, осуществить которое нельзя без свободы.*

Идея Тютчева не осуществилась.

Пути Герцена и Тютчева соприкасались и позже. И не только как пути политических противников. В январе 1869 года Тютчев пишет (не для печати конечно) эпиграмму:

Вы не родились поляком
Слуга влиятельных господ.
С какой отвагой благородной
Громите речью вы свободной
Всех тех, кому зажали рот.

Герцен с радостью поместил бы такую эпиграмму в "Колоколе", где много раз с издевкой, с возмущением разоблачался полицейский литератор Скарятин.

* А. Тимашев, управляющий III отделением и начальник корпуса жандармов, ответил Тютчеву: "Уничтожить значение писаний Герцена совершенной свободой печатания, какова она в Англии, при монархически неограниченном правлении невозможно и значило бы убить себя из опасения быть убитым" (20 ноября 57 г.) — Летопись жизни и творчества А.И. Герцена. т. II, стр. 382.

”Все те, которые хотят Русь мерить на ярды и метры, не знают ее” (статья ”Россия и Польша”) — эти слова перекликаются со знаменитым тютечевским:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить...

Двадцать седьмым февраля 69 года помечено стихотворение Тютчева:

Нам не дано предугадать
Как слово наше отзовется.
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.

Эти строки можно было бы поставить одним из эпиграфов к циклу писем ”К старому товарищу”. В феврале закончено второе письмо.

* * *

После смерти Николая I в России наступило особое, весеннее время, когда уже нельзя было не думать о коренных бедах русской жизни, но еще нельзя было сказать о них вслух на родине.

Тогда возникло широкое, своеобразное единение — множество людей из всех сословий понимали и ощущали: дальше по-старому Россия существовать не может. Крепостничество изжило себя. Назрели реформы.

Объединялись не ”положительной” программой, а общностью недовольства (весьма неоднородного).

Оппозиционность часто была поверхностной и

разнохарактерной. Чуть начал подтаивать самодержавный ледник, льдины стали трескаться, устремляясь в разные стороны.

Все это и вызвало вольную печать за границей. Газета отвечала исторической необходимости. В "Колоколе" был запечатлен тот неповторимый момент.

В газете есть заметки, статьи, письма, порою целые номера, написанные не Герценом. Но взрывающаяся немота огромной страны выражена по-герценовски.

Были за границей в конце пятидесятых — в начале шестидесятых годов другие литераторы, возникли другие антиправительственные газеты и журналы. Крепостное право, телесные наказания, отсутствие гласности обличал не один Герцен. Сам он не раз говорил и писал: у нас нет монополии, пусть пробуют другие люди. По-своему.

Голос Герцена и тогда звучал как неповторимый, потому и сегодня принадлежит не только истории. В этой газете воплотился особый герценовский дар — лирическая публицистика.

Герцен — общественный деятель создал трибуну Герцену-писателю.

Наступило, однако, время, когда он понял:

Герцен — Огареву, 14 июля 1868 г.

...Саго тію — нам пора в отставку и приняться за что-нибудь другое — за большие сочинения или за длинную старость.

Собр. соч., т. XXIX, 2, 408

Впрочем, для него самого "большие сочинения" были и лирической прозой, и лирической публицистикой. Одно не заменяло другое.

Ему иногда казалось, что именно газета дает возможность немедленного отклика:

Герцен – Огареву, 20 сентября 69 г.

Только повести и художества могут ждать. А мысль новая или Standpunkt особый тотчас должен печататься – а то завтра следующий станет на место...

Собр. соч., т. XXX, 197

Но на его место не стал никто.

9-го марта 1866 г. он писал сыну:

”Колокол” может выходить раз в месяц, но выходить должен – это honneur du drapeau и якорь спасения всего сделанного.

Собр. соч., т. XXVIII, 168

Якорь был выдернут своими руками.

Так же, как в 1855-57 г.г., ему было дано услышать немую Россию, страстно жаждущую высказываться, так в 68-69 г.г. он слышал: Россия и говорила и молчала уже по-иному.

В. Зотов – Герцену, 5 сентября 1867 г.

”Колокол”... упал в общем мнении более всего от его пристрастия к полякам....*

А. Серно-Соловьевич в 1868 году по существу возражал: ”Не польское дело, а отсутствие в вас внутреннего содержания заставило публику отвернуться от вас...” (”Наши домашние дела”). После защиты польского восстания 63 года газета потеряла 4/5 подписчиков, и тиража в две с половиной тысячи, по тем временам цифры очень высокой, уже не достигла.

*Литературное наследство, т. 62, стр. 143

Н. Погодину представлялось: все дело в том, что нет колокольной, без которой колокол для русского человека -- бессмыслица.

"Герцен не от усталости перестал звонить в "Колокол", а оттого, что он видел, что благовест к "собору" -- проповедь в пустыне, а в "набат" ударить было против его убеждений, против характера всей его деятельности" -- писал автор анонимной брошюры (1870 г.).

Не это ли ближе всего к истине?

Герцен устал, — как устает в определенном возрасте каждый человек, да еще при неслыханно напряженной деятельности. Но усталость он преодолел бы, -- он преодолевал ее не раз.

Чтобы его услышали, он прежде всего должен был слышать сам. Усомнился, -- продолжает ли слышать, имеет ли право говорить от имени России?

Двадцать два года прошло с того дня, когда уже и "ветер мел снег из России на дорогу" ("Былое и думы"), когда счастливый Герцен мчался навстречу западным свободам.

Не так уж много можно вычитать из русских газет и журналов. Не много из писем, даже дружеских, а друзей на родине становилось все меньше. Не много можно узнать у русских путешественников, даже самых осведомленных. И путешественники считанные -- давно позади те времена, когда пришлось специально выделить среду и воскресенье для посетителей из России, — иначе и вовсе нет уединения, нельзя работать за письменным столом.

За границей уже прошло больше "взрослой" жизни, чем в России. Москва все отдалялась и отдалялась. Реальностью становилась эмиграция. Герцен по-прежнему хотел писать для России и о России. Но это становилось все труднее.

Герцену, вопреки присущему ему просветительскому рационализму, было дано ощущать иррациональные приливы и отливы в частной жизни и истории. Так он ощутил отлив 1868-69 годов.

Не ошибался ли он? Ведь один раз он уже считал, что все кончено. И действительно, какие страшные беды валились на него в 1851-52 гг.: гибель в море матери и сына Коли; измена Гервега, который одно время казался лучшим другом; "кружение сердца" любимой жены Натальи Александровны; непоправимое -- ее смерть. И общественные события, воспринимавшиеся им как личные, -- крах революций 1848 года.

Посвящая Огареву сборник статей Герцен писал 10 июня 1851 г.:

... для себя я больше ничего не жду, ничто не удивит меня, ничто не порадует глубоко. Удивление и радость обузданы во мне воспоминаниями былого, страхом будущего. Я достиг такой силы безразличия, безропотности, скептицизма, иначе говоря, -- такой старости, что переживу все удары судьбы, хоть равно не желаю ни долго жить, ни завтра умереть.

Собр. соч., т.VII, 269

Впереди же был "Колокол", "Былое и думы", сотни страниц бессмертной прозы, всемирная слава.

События 49-52 гг. были роковыми. А теперь -- может быть, не менее страшная тина повседневноности. "Колокол" умер... никем не оплаканный..."

В 69-м году шел отлив, за которым не видно было прилива. В 1869 году у типографии уже не было заказов, пришлось распустить рабочих, остался один наборщик.

Герцен знал -- уже не мог не знать, -- цену себе, цену своему творчеству, написанной странице, плодотворному или пропущенному дню.

Конечно, у него бывали часы, дни, месяцы, когда казалось -- он больше ничего не напишет, источник иссяк, исчезают внешние стимулы ("завтра в типографию..."), не хватает внутренних. Но чаще, гораздо чаще раннее утро заставляло Герцена за письменным столом.

Он еще был полон энергии. Хотел издавать старые книги (сначала в Брюсселе, потом в Париже). Хотел создавать новые.

В последний год жизни перед ним обострилась дилемма, в разных обличьях возникающая перед многими литераторами.

Герцен -- Огареву, 15 декабря 69 г., Лион

Ум и эгоизм внятно говорят, что себе в пощаду надо ото всего уйти, отдать деньги и попробовать уединенную жизнь. Но пощады к другим, ими неоцененные, -- говорят другое.

Собр. соч. т. XXX, 283

"Себе в пощаду" для Герцена вовсе не означало самоублажение. Речь шла об уединении в любимом труде. "Себе в пощаду" -- это еще не написанные книги.

”Другие” — не только семья. Юношеское кредо ”одействовотворить все возможности”, — съезжилось, но отнюдь не исчезло. Как и смолоду, ему было тесно внутри одной литературы. Герцен — общественный деятель не только помогал, но и мешал Герцену-писателю.

Продолжал вслушиваться в гул. Ждал, -- не переставал ждать голосов из России. Запрещал себе ждать, доказывал, что ему-то ждать нечего. Но -- ждал.

В этот момент в Женеве появился ”петербургский юноша”.

II

В марте 69 года молоденькая девушка в Петербурге получила большой конверт, в него вложен второй конверт и записка: ”Если Вы честный человек и студент, — передайте письмо по прилагаемому адресу”. В письме: — меня везут в крепость, что со мной будет -- не знаю. Пусть друзья продолжают общее дело.

Автор письма -- Сергей Нечаев. Получатель -- Вера Засулич. Так и возникла легенда о Петропавловской крепости (”Выбравшись ... из промерзлых стен...”), необходимая Нечаеву, как вверительная грамота Огареву, Герцену, Бакунину, всем русским революционерам за границей*. Так он творил миф о себе. А на самом

* Маркс писал, что Нечаев ”прибыл в Женеву с намерением прибрать к рукам старых эмигрантов, чтобы использовать их авторитет для влияния на молодежь и воспользоваться их типографией и деньгами” — Маркс и Энгельс, Собр. соч., т. XVIII, 414.

деле он по чужому паспорту ехал в Женеву.

Нечаев еще будет заключен в Петропавловскую крепость, — она не позади, а впереди. В 1872 году — суд, приговор, Алексеевский равелин. Десять лет погребения заживо. И смерть.

А в 69 году студенты добивались в Петербурге и Москве права студенческих сходок, землячеств, помощи неимущим, отмененных в 1866 году, после каракозовского выстрела.

Умеренные требования студентов показались властям возмутительными.

Цензор Никитенко записывал в дневник:

16 марта...

Медико-Хирургическая Академия закрыта. Толкам конца нет.

19 марта.

О происшедшем в Медицинской Академии все еще ничего достоверного. Говорят, что здесь нет ничего политического... Мимо окошек поутру промчались два отряда жандармов для усмирения Технологического института.

20 марта.

В "Голосе" напечатано известие, что и в Московской Петровской Академии прекращены лекции.

21 марта.

Студенты выходили во время лекций на сходки. Тем, кто оставался, кричали "Подлец!" Глупее всего — печатные прокламации — требуют дозволить сходки и освободить от полицейской опеки...

До участия в студенческих волнениях Нечаев учительствовал. Нищее детство, пьяница-отец, мальчик на побегушках, унижения. Все это выковало сильную волю и ненависть к миру.

Бакунину и Огареву показалось — перед ними истинное, единственное воплощение молодой России.

Возникали у Бакунина и вещие прозрения. Так в ноябре 69 года, в том самом месяце, когда был убит студент Иванов, Бакунин пишет Огареву, что, если они с другом и увидят революцию, то "... нам с тобою не много будет личного утешения, — другие люди — новые, молодые, сильные... сотрут нас с лица земли, сделав нас бесполезными..." (343)

... Иду в библиотеку перечитывать письма Бакунина. А на стене здания Геттингенского университета крупными красными буквами выведено: "Да здравствует анархия!" или "Наша цель — для Гемании — анархия!" или (гораздо реже) "Да здравствует Бакунин!"

В 1870 году, после смерти Герцена, уже порывая с Нечаевым, Бакунин тем не менее объясняет:

Я сказал себе и Огареву, что нам ждать нечего другого человека, что мы оба стары, и что нам вряд ли удастся встретить другого подобного, более призванного, и более способного, чем Вы; что поэтому, если мы хотим связаться с русским делом, мы должны были связаться с Вами, а не с кем другим...

Герцен не разделял этого увлечения. Он еще не видел "русского юношу", но его уже оттолкнуло нечаевское слово, его прокламация. Этические оценки у Герцена неразрывно переплетались с эстетическими.

Достоевский писал Страхову, что Герцен был "поэт по преимуществу. Поэт берет в нем верх везде и во всем, во всей его деятельности. Агитатор-поэт, политический деятель — поэт,

социалист-поэт, философ — в высшей степени — поэт...” (5 апреля 1870 г.)*

Огарев, — будучи сам гармоничнее, мягче — гораздо чаще ошибался в людях.

В оценке Нечаева друзья разошлись с самого начала. Еще не подозревая, что это станет самой глубокой трещиной в их дружбе.

Отношения Герцена и Огарева — действительно редкий пример даже в русской истории с ее культом дружбы, — рассматривались преимущественно как идиллия и редко как союз, исполненный драматизма**.

”Мы — две части одной поэмы”, — это подчас известно и людям, не читавшим ни Герцена, ни Огарева, знающим лишь памятник на Моховой, у старого здания Московского университета и клятву на Воробьевских горах. ”Я охотно беру в нашей жизни вторую роль”*** — эти слова Огарева менее известны и менее объяснены.

Перечитывая сегодня его стихи и статьи, можно лишь вообразить восторги современников, как воображаешь великих актеров прошлого

* Ф.М. Достоевский. Письма, М.Л. 1930, т. II, с. 867.

** Лучшая работа на эту тему — М. Гершензон ”История одной дружбы” относится лишь к раннему периоду. Этой темы касается и Л.Я. Гинзбург. См. ее книги ”Былое и думы”, М., 1957 и ”О психологической прозе”, М. 1977.

*** Литературное наследство”, т. 61, с. 687.

го по свидетельствам. Огарева, вероятно, надо было видеть, быть рядом, чтобы ощутить его особое излучение, чтобы подтвердилась характеристика Гершензона:

Это умение слышать свои внутренние голоса, на высшей его ступени, нисколько не ослабляя напряжения чувственных порывов, вносит в них такую дивную соразмерность и *вместе непреложность*, которые ставят душевную жизнь подобного человека на полдороге между прекрасным произведением природы и произведением истинного художника... Слабость активной воли, делавшую его игральщиком внешних факторов и собственных страстей... присутствие огромной пассивной силы в глубине души, чувство глубокого внутреннего покоя, не покидавшие его ни в дни падений, ни в минуты душевных бурь...

"Глубокий внутренний покой", — то, чего не хватало Герцену, к чему он неизменно стремился. И что он черпал у Огарева.

"За шесть месяцев покоя я отдам шесть лет жизни" (1849) — это говорит молодой человек, еще не знающий цену шести годам жизни. Но и двадцать лет спустя Герцен повторяет: "За месяц покоя я отдам год жизни..." — года у него уже не оставалось.

Огарев полнее всего раскрывается в письмах.

Они кинулись навстречу друг другу в том возрасте, когда одного сходного звука достаточно, чтобы решить: "такой же, как я". Но часто, очень часто, потом оказывается — вовсе не такой...

В дружбе, как и в любви, люди иногда, — очень редко, — рождаются половинками. А

иногда ими становятся. Герцен и Огарев "двумя частями одной поэмы" стали — становились в течение долгой жизни.

Сначала под влиянием внешних обстоятельств, — сходное положение в семье — каждый одинок, далек от родителей. Сходные взгляды. Сходная судьба: университет, тюрьма, ссылка. Труд истинного, внутреннего сближения продолжался до конца. И вскоре каждый уже не мыслил себя без другого.

Огарев писал Наталье и Александру после распада московского кружка в 1846 году:

...Мы приютились друг к другу, потеряв кучу... кроме того, что мы *wesentlich* связаны, мы связаны тем, что мы одни...*

Эти слова оказались вещими. Еще крепче связала их чужбина. Общее дело. И прошедшее и слабеющие, но остающиеся надежды на будущее. Среди отходных старому "Колоколу" в письмах последнего года мелькает: "Жду от тебя нравственную смету по части нового "Колокола"...

Каждый из них научился дружить, нуждался в дружбе, развил эту способность. Они вырабатывали, — с муками, с движениями вспять ту общность, которая не посягала на их различия ("я люблю свой гнев столько же, сколько ты свой покой..." — это еще сорок первый год, Герцен и представить себе не мог, на какую меру гнева он способен).

* "Литературное наследство", т. 61, стр. 730.

Их дружба — постоянная взаимная требовательность; Герцен поощрял к труду, требовал труда.

Оба просветители, оба верят, что люди изменяются под воздействием среды, внешних влияний, что, следовательно, людей и близких, прежде всего, можно и нужно переделывать.

Дружба тянется в последующее поколение:

Сыну Саше, 1 января 1859 года.

В мире у Вас нет ближе лица, как Огарев, Вы должны в нем видеть связь, семью, второго отца. Это моя первая заповедь... *

И дети подчас откровеннее с Огаревым, чем с отцом. Им с Огаревым легче.

Связи всеобъемлющи, — отрочество, юность, зрелость, общий неслыханный успех, подъем и спад, разочарования и могилы. До поры до времени, — и быт.

Связаны деньгами: Герцен — хранитель капитала, — своего и почти растаявшего огаревского (а был из богатейших на Руси помещиков). Герцен, необыкновенно щедрый в юности, вынужден с каждым годом строже считать, давать или чаще отказывать, брать чаще ответственность за ближайшее и более отдаленное будущее.

* Н. Огарев писал Ольге: "Я люблю и всегда любил твоего отца как единственного в мире брата. И всегда смотрел на его детей как на собственных. Я любил твою мать, как настоящую сестру. Я люблю Лизу как свою дочь."

Он делится с Огаревым впечатлением от каждой прочитанной книги, от каждой встречи, делится каждой новой мыслью. Огарев -- первый читатель герценовской строки, читатель, который отзывается, понимает, оценивает, восхищается. А порою -- отвергает, спорит, и весьма резко. Побуждает Герцена либо согласиться, либо оттачивать мысль, искать более убедительных доводов, более верных слов.

Зная друг друга едва ли не до дна, они не перестают всматриваться, удивляться. Герцена в Огареве "привлекает то, что в нем не видать горизонта..."

Критикуют, сердятся, раздражаются, -- но снова и снова ощущают: "второе 'я' ". Можно ли порвать с самим собой?

На памятнике слова из "Былого и Дум": "Путь, нами избранный, был не легок, мы его не покидали ни разу; раненные, сломленные, мы шли..."

Это не только гордое признание политических деятелей, борцов. Не легок был и путь их дружбы. Однако раненные, сломленные, они шли...

Они были "ранние сеятели свободы". Но ведь читали же их "Колокол", передавали из рук в руки, рисковали службой, а то и свободой. Огарев еще нетерпеливее, чем Герцен, ждал восторгов, ждал читателей.

В 1869 году он встретил Нечаева, который убедил его и Бакунина, что существующими в России порядками недовольны не только

студенты нескольких университетов. Что недовольством охвачена вся страна. Что мужицкая Русь готова на восстание. А раз так, надо снова звонить в "Колокол".

Огарев поверил Нечаеву. И, пожалуй, еще никогда не стремился с такой силой передать свою убежденность другу. Но Герцен сопротивлялся.

* * *

Еще в феврале Герцен послал Огареву набросок статьи "Между старичками". Начиналась работа над последним крупным произведением Герцена, — циклом писем "К старому товарищу". Огарев, как обычно, возвратил статью со своими замечаниями: "...твою статью вчера... уже прочел и сегодня перечитывал. В ней чрезвычайно много хорошего; но я с ней не могу (пока) согласиться, как и с неопределенностью Бак (уни-на). Главное, я тебе одно замечу, что вооруженное восстание обуславливается существующим войском, которое до сделки никогда не допустит".

В апреле прежний спор по поводу листовки продолжался.

Герцен — Огареву, 18 апреля.

... Конечно, я не согласен на подписи, — но если вы не дождались и напечатали, — нечего делать, т.е. если разослали, а нет — перепечатать за мой счет.

Собр. соч. т. XXX, 90

Огарев — Герцену, 19 апреля.

... я сделал глупость, телеграфируя... пользуюсь твоим...

так и быть, потому что вижу в этом необходимость поднятия молодых сил... Третье поколение верит в успех самопожертвования и всякую беду считает успехом...*

”... Всякую беду считает успехом...” Отсюда и росло ”чем хуже, тем лучше...”.

Герцен так не считал. Хуже-то людям. Во имя их счастья революционеры первых призывов хотели, чтобы было лучше. Верили в это.

Это хотя и неистинно, — продолжает Огарев, — но благородно — и потому — чорт знает — пожалуй и правда...** Но одно необходимо — это быть с тобою в одном городе. Иначе становится невозможно: скучно и грустно и некому руку подать.

Герцен — Огареву, 20 апреля.

С болезненным нетерпением жду, чем кончится вся багара. Мне очень больно, что я чуть ли не в первый раз не только не согласен с тобой — это бывало, — но не уступаю — или уступаю, только если нельзя поправить... Я вовсе не прочь идеи ”письма к молодежи” — а против твоего письма. Оно бедно и cassant. Меня все это совершенно подавляет mauvais humeur’ом.

Собр. соч., т. XXX, 90

Герцен — Огареву, 21 апреля.

Ну, тучу разогнал. Благодарю, и не за себя одного, а и за тебя. Да неужели ты и поднесь не раскусил, что писать этим тоном нельзя было воззвания с подписями... И, если ты видел, что воззвание необходимо, — отчего ты не написал его сильной и благородной кистью? Ведь и Нечаева воззвание ни к черту не годится... Тхоржевский привез мне ”За пять лет” — вот

* ”Литературное наследство”, т. 39-40, стр. 253

** ”Литературное наследство”, т. 39-40, стр. 253-254

наш язык и вот было знамя, во имя которого мы могли побеждать. Этот Anshlag, этот тон надобно снова отыскать.

Собр. соч., т. XXX, 91

Соппротивление давалось Герцену с трудом. Борьба шла не только с Огаревым, но и с самим собой.

Грановский еще в молодости заметил: "Ты стоишь одиноко..."

Герцен и стремился к одиночеству и боялся его, страдал от него. Особенно в годы между смертью первой жены и возникновением "Колокола". И теперь, в конце.

Считал, что "жил на площади" *.

Среда нужна почти каждому человеку. Герцену, общественному деятелю и художнику, каким был он, с его словом, приближающимся к устному, с его диалогичностью, среда -- условие, без которого нет ни деятельности ни творчества. Ему необходимы были сторонники, противники, собеседники, читатели.

Без отклика он задыхался. Еще и потому так боялся Герцен маленьких городков и маленьких кружков, "вредящих глазомеру", потому хотел жить в Лондоне, в Париже, туда же звал детей.

Он испытал несколько распадов среды. О конце московского кружка он написал в первой части "Былого и Дум". Разлад со своими, пожалуй, в большей мере толкнул в эмиграцию, чем жажда вдохнуть Запад, чем болезнь жены.

* Годы спустя это повторил с ненавистью В.В. Розанов, назвав существование Герцена "базаром". Розанов многократно, едва ли не маниакально возвращался и возвращался к Герцену.

В Париже возникло зыбкое сообщество участников и болельщиков европейских революций сорок восьмого года. И раскололось тем мучительнее для Герцена, что совпало и в лицах с семейной драмой.

В 1857-63 годах образовалась самая, пожалуй, важная среда -- корреспонденты, читатели, агенты, помощники "Колокола".

Девиз "Колокола" -- "Зову живых" -- не просто риторика. Звал и дозволялся. Живые появились. Нашли Герцена. Окружили его, -- вопреки тому, что подчас между ними лежали огромные пространства.

После 63-го года начал распадаться и этот круг.

Шла новая волна.

Сближаться с новыми людьми все труднее, даже необыкновенно общительному Герцену. Последней драматической попыткой найти отклик стали отношения с молодой эмиграцией.

Нечаев заключил длинную череду "новых людей", тех, с кем стремились найти общий язык Герцен и Огарев.

"Молодых штурманов будущей бури" Герцен видел такими:

"... Военное нетерпеливое отвращение от долгого обсуживания и критики, несколько изысканное пренебрежение ко всем умственным роскошам, в числе которых на первом плане ставилось искусство... сложного, запутанного процесса уравнивания идеала с существующим они не брали в расчет, и, само собой разумеется, свои мнения и воззрения принимали за воззрения и мнения целой России.

Это отрешенная от обыкновенных форм общежителства личность была полна своих наследственных недугов и уродств. Нагота не скрыла, а раскрыла, кто они...

Для полной свободы им надо было забыть свое освобождение и то, из чего освободились, бросить привычки среды, из которой выросли. Пока это не сделано, мы невольно узнаем переднюю, казарму, канцелярию и семинарию по каждому их движению и по каждому слову..."

Для молодых эмигрантов искусство -- "умственная роскошь". Герцен же писал М.Мейзенбург:

Артистический эпикуреизм -- единственная гавань, единственная "молитва", которую мы имеем для успокоения. (12 сентября 57 г.)

Собр. соч., т. XXVI, 119-120

Молодые хотели вместе с ним издавать "Колокол". Он полагал: надо не только хотеть, но и уметь.

Герцен -- Огареву, 4 января 65 года.

Мне с ними ужасно скучно -- все так узко, ясно, лично -- и ни одного интереса, ни научного, ни в самом деле политического -- никто ничему не учится, ничего не читает...

Собр. соч., т. XXVIII, 9

Герцен -- Огареву, 8 января 65 г.

У них нет ни связей, ни таланта, ни образования. ... им хочется играть роль и им хочется нас употребить пьедесталом... Ты знаешь, у меня никогда не лежало к ним сердце -- у меня есть свое чутье.

Собр. соч., т. XXVIII, 10

И у молодых было "свое чутье". И у них были претензии.

Из воспоминаний Л. Мечникова.

Герцен, основываясь главным образом на том, что "Колокол" есть литературное дело, а из молодых эмигрантов мало кто доказал свои способности к литературе, не соглашался выпускать дело из своих рук.

Н.И. Утин — Герцену.

... вам пора перестать отвергать с пренебрежением юношей... наоборот, вы должны употребить все силы, чтобы извлечь пользу для вашего органа из каждого из нас...*

Н. Николадзе — Герцену

Для того, чтобы это поколение было удовлетворено вами, необходимо, чтобы все ваши силы, не тратясь в отдельных проблесках без связи и единства, соединились в одно стройное целое и стали постоянным маяком, освещающим дорогу не более или менее блистательным мерцанием, а равномерным светом.**

А Герцен ни с кем не хотел сливаться в "стройное целое", не хотел светить "равномерным светом", -- да и не мог бы, если б и захотел.

Ю. Стеклов, один из молодых людей XX века, подобных Утину и Николадзе, применяя мерки и терминологию социал-демократической эмиграции, утверждал, что

наладить издание "Колокола" совместно с молодой эмиграцией Герцену не удалось, т.к. при коллективной

* "Литературное наследство", т. 62, стр. 682

** "Литературное наследство", т. 62, стр. 409

редакции он боялся лишиться своей руководящей роли.*

Герцену не было чуждо ни честолюбие, ни тщеславие. Но он чурался "руководящей роли", инстинктивно сторонясь всего, что хоть отдаленно напоминало армию или партию.

Единственный человек, с которым он мог работать вместе, — Огарев. Уже сотрудничество Бакунина в "Колоколе" с 1862 года не только помогало, но и мешало издателям.

Самое резкое столкновение (до Нечаева) произошло с А. Серно-Соловьевичем**. В 1867 году тот опубликовал уже цитированную брошюру "Наши домашние дела"; попрекал Герцена "барственной роскошью", равнодушием к эмигрантским бедам. Возмущался, как смел Герцен поставить свое имя рядом с именем Чернышевского, называл его "мертвым человеком", грозно отлучал: "Да, молодое поколение поняло Вас и, поняв, отвернулось с отращением".

Когда Михайлова, Шелгунова, Н. Серно-Соловьевича, Чернышевского арестовывали, это каждый раз для Герцена были тяжелые удары. Он понимал, что у них общие враги, что лишь Лондон спасет его самого от ареста. Что он несет ответственность — все его соотечественники,

*Ю. Стеклов — А.И. Герцен, М., 1920.

** Брат известного революционера Н.А. Серно-Соловьевича, погибшего на каторге. Впоследствии он в Женеве покончил самоубийством.

подвергавшиеся гонениям, читали "Колокол". Потому ощущение общности одолевало различия.

В 1866 году он возражал князю Долгорукову:

Писать разбор на Ваше письмо и взвешивать слова я не стану, замечу только одно. Как же вы не заметили, что и телом и душой не только принадлежу к нигилистам, но принадлежу к тем, которые вызвали их на свет. Не теперь же я стану отречься от всего прошедшего своего, когда правительство обращает на нигилизм всю свирепость свою.

Собр. соч., т. XXVIII, 215

Так диктовала истина. Так диктовала и простая порядочность. Но это вовсе не означало никакого единомыслия. Которого Герцен не признавал.

И встречаясь с молодыми шестидесятниками за границей, видя их не в ореоле мученичества, а в повседневности, Герцен ощущал прежде всего чуждость. Разумеется, и он бывал несправедлив. В некоторых частных вопросах — не прав.

Молодые революционеры — Утин, Николадзе, Серно-Соловьевич — воспитывались на статьях "Колокола" и не всегда забывали об этом. Помнил и он сам.

Герцен столкнулся со своими идеями, подчас и со своими доводами, преображенными в его глазах до неузнаваемости. Столкновение не могло не быть трагическим.

Огарев относился к молодой эмиграции несколько по-иному. Еще в 1863 году, споря с другом о юношах, Герцен говорил:

Веря в нашу силу, я не верю, что можно произвести роды в шесть месяцев беременности, и мне кажется, что Россия — в этом шестом месяце.

... России всего нужнее опомниться, и для этого ей нужна покойная, глубокая, истинная проповедь. Ты на нее способен. Проповедь может сделать агитацию — но не есть агитация — вот почему я иногда возражал на твои агитационные статьи... Будем звать юношей... В этом я пойду с тобой, как шел всю жизнь... но веры, чтоб зародыш был готов, что мы можем сделать восстание, у меня нет.

Шесть лет спустя оснований для веры стало еще меньше. А покойная, глубокая проповедь -- еще нужнее.

... Как насущно необходима она и сегодня, сто с лишним лет спустя!

Все страшнее и неотвратимее возвращались к Герцену его собственные призывы, вульгаризованные, измельченные, исковерканные.

Он испытывал ужас, ощущение ответственности, стремление снова и снова осмыслить пройденный путь, спросить себя, -- не было ли ошибки в первоначальных замыслах? Где, когда? Или дело лишь в исполнении, в неизбежном опошлении, когда твоя идея перестает быть только твоим достоянием...

Столкновение с молодыми причиняло острую боль. Излечения он искал, как и прежде, в мысли, в слове, в работе.

* * *

Новый спор с Огаревым продолжался.

Огарев — Герцену, 30 апреля.

Мне становится жаль, что ты не подписал моей прежней статьи из-за чувства изящной словесности. Тут была нужна скорость. Теперь моя статья имеет лучший тон. Умоляю тебя прислать согласие на подпись, ибо иначе — по моему мнению — это будет просто позор... если мы не поднимем словом дух юношества — это будет просто подло. Неужели ж ты и тут не дашь подписи... Чтоб мой внучек* с тобой встретился — мне необходимо... **

Такая настойчивость вовсе не присуща Огареву. Он явно не может сопротивляться натиску Бакунина и Нечаева. В его аргументацию вплетаются чужие ноты, чужие слова; слишком хорошо он сам понимал толк в "изящной словесности", слишком хорошо он знал, что значит изящная словесность для друга.

Переписки недостаточно, — необходима личная вера.

Огарев — Герцену, 2 мая.

... я жду тебя к 10-му. Жду с искреннейшей преданностью тебе и общему делу... ***

Герцен — Огареву, 2 мая.

... Душевно желаю поскорее окончить полемику с тобой.

Собр. соч., т. XXX, 103

*Так конспиративно называли Нечаева.

** "Литературное наследство", т. 39-40, стр. 554

*** "Литературное наследство", т. 39-40, стр. 555

4-го мая.

Твоя статья, разумеется, лучше манифеста — но это статья и может быть подписана только одним, она субъективна по языку, по форме...

Собр. соч., т. XXX, 104

Герцен, как обычно, посылает и конкретные замечания по тексту. Так, в статье Огарева, написанной по данным Нечаева, число сосланных студентов оказалось преувеличенным в десять раз; Герцен, не зная фактов, это угадал, ощутил за словами и за паузами.

Огарев — Герцену, 5 мая.

Два прошедших письма меня глубоко потрясли. Слезы душат и, действительно, чувствуется, что самое реальное было бы околоть. Если ты находишь ошибки — можно поправить, можно полемизировать, но на них еще с высокомерием, которое не заменяет убеждения, отзываться нельзя. Бак (унин) подписываться не желает, боясь разойтись в убеждениях. Ты видишь какое-то влияние Бак (унина)... Здесь он в этом случае... останавливал и скорее боится несвоевременных волнений. В русском вопросе он, может, пошел дальше; я не могу сойтись и мешать не стану, ибо вред останавливания, мне кажется, в тысячу раз вреднее чего бы то ни было...

... Юное движение в большинстве живо и, если бы даже вело к несчастьям, все же останавливать грешно и позорно, и вреднее, чем все, что может случиться.

Огарев так знает Герцена за сорок лет, что говорит как бы от его имени, заранее глядя на Нечаева глазами Герцена:

Мой мужичок тебе с первого раза, пожалуй, не понравится. Мы с ним сблизились только весьма постепенно; манеры у него уже совсем мужицкие. Но... почему

же не вынести мужика-юношу, который, вероятно, не уцелеет?...

... Я поправил (в листовке) все, что нужно... но я не могу понять, в чем ты со мной не согласишься — и печатать хочу не самолюбия ради, а ради того, что в ее правде я убежден и убеждением тоже не пожертвую...

Мне приходится стоять как то посередине между элементом шума и элементом консервативного социализма. Как это тяжело, мой, во всяком случае, страшно любимый брат, — ты себе представить не можешь...*

Десятого мая Герцен приехал в Женеву, оставив Наталью Алексеевну с Лизой в Экс ле Бен (в четырех часах езды).

Он пишет жене на следующий день, 2 мая, что недоразумение с Огаревым уладилось в полчаса, а с Бакуниным труднее. Судя по дальнейшему, "полчаса" — это преуменьшено, быть может, Герцен так пишет потому, что старается скрыть от жены свои разногласия с Огаревым.

Герцен сразу же увидился с Нечаевым. Необходимо это было Огареву, чтобы взять у Герцена и отдать Нечаеву свою часть бахметьевского фонда, — деньги, которых добивалось множество молодых эмигрантов с тех пор, как просочились сообщения об этом фонде. Герцен неуклонно охранял общие деньги. Но половина принадлежала Огареву.

Н.А.Тучкова-Огарева:

Эти неотступные денежные просьбы раздражали и тревожили Герцена. Вдобавок его огорчало, что эти господа так легко завладели волей Огарева.

* "Литературное наследство", т. 39-40, стр. 555-556

Собирались почти ежедневно у Огарева, они много толковали и не могли столковаться...

Далее о приходе Нечаева:

Поклонившись сухо, он как-то неловко и неохотно протянул руку Александру Ивановичу... Редко кто-нибудь был так антипатичен Герцену, как Нечаев. Александр Иванович находил, что во взгляде последнего есть что-то суровое и дикое...

Татьяна Пассек:

Нечаев был до того антипатичен Герцену, что постоянно отдалял его и никогда не допускал в свое семейство. Если же Нечаев появлялся у него в доме, то говорил своим: "Ступайте куда хотите – вам незачем видеть эту змею".*

Неприязнь была взаимной. А. Гамбаров, автор книги "В спорах о Нечаеве" (к вопросу об исторической реабилитации), М.-Л. 1926, книги, восхваляющей Нечаева, утверждает:

К Герцену Нечаев всегда питал какое-то органическое предубеждение, доходившее нередко до открытой враждебности.

1 мая Александр Иванович пишет Огареву (уже находясь в одном городе с другом), о прокламациях Бакунина, Огарева, Нечаева, с которыми, видимо, ознакомился в Женеве:

Бакунин... любит пугать *букой*... (ему) хотелось за пояс заткнуть утячий клоповник и пустить такую дрожь на всю Россию, что там за университетами закроют типографии...

*Т.Пассек. – Из дальних лет, т.2, 1963, стр. 560

Вещь эта произведет бездну бед... я совершенно не согласен.

Вообще этими орудиями я не бьюсь — и думаю, что каждый должен идти сам по себе...

Собр. соч., т. XXX, 109-110

Герцен — старшей дочери, 22 июня 69 г.

Я — как и в Ницце — не согласен с Бак(униным) и петербургски-студентской пропагандой и тут совсем расхожусь не только с Бак(униным), но и с Огар(евым). Огар(ев) стал такой кровожадный — что и Бог упаси.

Пугачают и страшат...*

Противостоять сил я не имею — а потому все же не вижу возможности здесь долго задерживаться. Иначе дойдет до неприятных споров, а может и до печатной протестации — что вредно и не хочется делать.

Собр. соч., т. XXX, 138

Разногласия скрывал. Считал, что каждый должен идти сам по себе. Утверждал, что не имеет сил противостоять. Но, вместо намеченных нескольких дней, пробыл в Женеве и около — в Экс ле Бэн — больше полутора месяцев. Пытался понять оппонентов. (14 мая сообщает жене: задерживается в Женеве, так как идет на лекцию Бакунина.)

И спорил. И противостоял. И воевал. Не с людьми — с идеями.

Множество упоминаний о Бакунине, — с любовной иронией и уважением.

* Еще в 1863 году Огарев признавался: "Если у нас появится новый Пугачев, я пойду к нему в адъютанты..." — Н.П. Огарев, собр. соч., т. 2, стр. 491-492

Герцен — М.К. Рейхель, 18 июня.

Мастодонт Бакунин шумит и громит, зовет работников на уничтожение городов. документов... ну, Аттила да и только. Не вполне с ним согласный — я в очень хороших ладах...

Собр. соч., т. XXX, 137

Месяц спустя он пишет Утину, что Бакунин "родился под кометой" (собр. соч., т. XXX, 159).

Герцен — старшей дочери, 31 мая.

... Ага бывает через день, приезжает в пятом и уезжает в десятом...

Собр. соч., т. XXX, 123

Герцен — старшей дочери, 22 июня.

... (Бакунин) раза три ужино-обедает у нас. Ога (рев) почти всякий день. Но в общем зато идет война.

Собр. соч., т. XXX, 138

Сына Александра в письме специально предупреждает: о спорах с Ага и с Бакуниным — никому ни слова.

Нечаев все это эремя жил у Бакунина. То есть неизбежно, — пусть и закулисно, — участвовал в спорах Герцена с Бакуниным и Огаревым. Именно тогда, летом 1869 года, появились не только многочисленные прокламации, которые широко расходились по России, но и нечаевский "Катехизис революционера".*

* Долгие годы историки считали, что "Катехизис революционера" был написан совместно Бакуниным и Нечаевым именно в те женеvские месяцы. За последние 15-20 лет советские и французские историки склоняются к тому, что автор один Нечаев. Им возражает Витторио Страда. Полностью отделить Бакунина от

А Герцен продолжал работу над письмами "К старому товарищу".

В мае-июне 1869 года в Женеве едва ли не впервые в русской истории встретились, столкнулись две концепции русского освободительного движения. Полярно противоположные.

"Катехизис" — то есть свод правил, устав. Прочитать, выучить, исполнять.

Письма "К старому товарищу" — призыв к размышлению. Призыв к уму и душе. Прочитать и самому искать трудные ответы.

Столкнулись две личности. Два исторических характера.

Нечаев и Герцен.

Нечаев уехал из Женевы, в Россию, снабженный документом, удостоверяющим, что он "один уполномоченный представитель русской ветви Всемирного Революционного Союза".

12 мая 1869 г.

М. Бакунин

Дано через день после свидания с Герценом.

В первой стычке верх одержал Нечаев.

* * *

Женевские разговоры, о содержании которых можно лишь догадываться, касались не

Нечаева было бы неисторично. Нельзя сбрасывать со счетов ту "дикую социалистическую беспардонность", в которой признается сам Бакунин.

только идейных проблем, не только Нечаева. Друзья не виделись с августа 68 года.

Встретившись в Женеве, вновь и вновь говорили и писали о проклятых, не решенных семейных вопросах:

Огарев – Герцену, 27 мая.

... положения так натянуты, покой так мудрен, что всего проще, чище и лучше, чтобы я с тобой сказали Лизе теперь, чем, чтобы она услышала окольным путем, который нас перед нею поставит в дурном свете... Что касается до того, каким образом узнают развязку узла посторонние – ну их...*

Герцен – старшей дочери и сыну, 2 июня.

Я пришел к окончательному заключению после долгих разговоров с Ага, что время сообщить Ольге и Лизе пришло. Меня теснит ложь, выносимая из старых предрассудков. Но я решительно не хочу, чтобы вы говорили – инициатива должна принадлежать Огареву и мне. Ширь и чистота его меня всегда удивляют и подавляют.

Собр. соч., т. XXX, 124

Наталья Алексеевна не дождалась и сказала сама. Не выполнила и эту просьбу мужа.

Герцен – Ольге, 13 июня (перевод с французского).

Лиза должна объединить оба наших имени и называться Герценой-Огаревой, сблизить и слить воедино все наше существование. Лиза объединит нас, будет нас представлять по ту сторону могилы и продолжит традицию нашей дружбы.

Собр. соч., т. XXX, 133

Лиза и Ольга узнали правду, ранее скрываемую. Они приняли сообщение гораздо спокойнее, даже безразличнее, чем предполагали трое взрослых.

*"Литературное наследство", т. 39-40, стр. 557

Отношения Герцена с детьми не менее драматичны, чем отношения с другом. Они осложнялись изгнанием, бездомностью, чужой средой, тяжелым, едва ли не паталогическим состоянием Натальи Алексеевны. Но не только этим.

Он, умевший слушать противников и даже врагов, плохо слушал детей. Отчасти подавленный сознанием вины перед тремя старшими, но только отчасти. Он вещал, недостаточно заботясь о том, доходит ли его голос к другому берегу — до души сына, дочерей. Он — отец авторитарный — полагал, что все истинное для него должно быть истинным и для них.

Хотел, чтобы они вернулись в Россию; если это невозможно, — чтобы за границей оставались русскими (великий европеец, он всячески противился бракам дочерей с иностранцами). Хотел, чтобы они продолжали его дело.

Но у каждого из детей был свой характер, своя судьба, свое предназначение, не совпадающее с отцовскими желаниями.

Огарев был прозорливее, терпимее, в большей мере признавал в каждом ребенке, даже в маленьком, — личность. Пытался воздействовать на своего немолодого друга, смягчить его.

Посвященное сыну вступление к герценовской книге "С того берега", — образец высокой дидактической публицистики. Позже отец гордился успехами способного ученого.

Есть в письмах детям поразительные по тонкости понимания ноты, глубокие, грустные,

чаще всего тогда, когда Герцен забывает о необходимости специально воспитывать, — просто говорит о своем.

Александру, 5 июля 69 г.

Ты еще только начинаешь семейную жизнь. Она имеет хорошие дни, светлые полосы, но фон ее страшен, много сильных людей истерлось в ней, она по куску отрывает сердце — до тех пор, пока его морально не будет (равнодушие) — или физически.

Собр. соч., т. XXX, 141

Герцен часто поучал, корил сына, и часто — с полным основанием. Но на крутых жизненных поворотах сын проявлял себя достойным отца. Он решил, наконец, попытаться поехать в Россию. В первой же официальной беседе в русском посольстве заявил, что разделяет убеждения Герцена. В поездке было отказано.

Отец возмущался разбросанностью, рассредоточенностью, отсутствием воли. Его страшила праздность, он боялся, что обеспечив детей, уже взрослых, всем необходимым, он снижает меру ответственности за себя. "Пусть же с первых лет не касается твоего сына растление вечной обеспеченностью без труда", — писал он, когда родился внук Владимир.

Но в письмах к совершенно взрослому человеку, — и мелочная регламентация, которая вызвала естественное сопротивление.

Ольге, — а она жила дальше всех от отца, — он настойчиво внушает, что она может и не петь, а вот танцевать — обязана. Или требует, — именно требует, — чтобы она читала Шиллера.

Ждет от Ольги не просто приезда, а "жажды свидания", — откуда ей взяться, жажде... И рядом страшные слова, — Ольга и после его смерти не узнает своего отца, ибо не читает по-русски.

Ближе всего к отцу — Тата. В ней сильнее всего сказались отцовские черты. Он, — быть может и совершенно неосознанно, — ревнует ее к ее избранникам, радуется несостоявшимся замужествам.*

Его опека, — подчас излишняя, — неразрывно связана с тем бременем ответственности, которое он постоянно ощущал. Мужчина в доме, глава семьи, — таким он был в молодости. Он, ссыльный, тайно пробрался в Москву, умыкнул невесту, обвенчался, — обо всем, вплоть до мелочей, подумав. И до конца, до последних парижских дней, забота обо всем, — об устройстве, о деньгах, о доме, — на его плечах.

Он писал:

проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить с кафедры, гораздо легче, чем воспитать одного ребенка,

но не всегда поступал в соответствии с этой мыслью.

Без конца упрекает Огарева за потакание прихотям его приемных детей, — Генри и Тутса; Огарев их просто любит и не пытается воспитывать.

* Наталья Александровна Герцен, пользовавшаяся успехом, так и не вышла замуж.

Общаться с отцом в последний год его жизни становилось все труднее. Сказывалась усталость, отсутствие главного дела — "Колокола", разногласия с молодыми, болезнь.

Старшая дочь — Огареву, 13 февраля 69 г.

... Хотелось, чтобы и взрослым было повеселее по временам — особенно папаше. Когда же это удастся устроить ему жизнь покойную и по его вкусу?... Он всегда готов объяснить, растолковать все, что ни спросишь, — но тем не менее, когда нет посторонних (дает себе волю). Ужасно жаль мне видеть, как он портит себе жизнь, — самому себе и окружающим, — придавая важность безделицам и поддерживая себя, как будто нарочно, в неестественно-раздражительном расположении духа...

Хотелось бы что-нибудь устроить, а никак не придумать, да он сам едва ли знает, в каком углу земного шара ему хотелось бы поселиться и *как* жить. *

Отец знал, как любит его старшая дочь. Тем страшней оказался последний, — для него — непоправимый удар. К ней посватался слепой итальянский композитор Пенизи; получив отказ, он стал шантажировать девушку, грозился убить ее отца и брата (все это происходило, когда она жила в доме брата, во Флоренции). И она тяжело психически заболела.

Герцен с женой и Лизой кинулись на помощь — не дал ее в больницу, полтора месяца ухаживал сам, да и в Наталье Алексеевне в таких крайних случаях просыпалась самоотверженность, и "отласкали Тату от черной болезни".

* "Литературное наследство", т. 62, стр. 470.

Тату отласкали, но его отласкать было некому. И поздно.

Через месяц после выздоровления дочери он скончался.

Болезнь Таты еще и разбередила старую рану, она сама, — не без оснований, называла Пенизи "своим Гервегом".

Герцен — Огареву, 13-14 ноября 69 г.

... Я... холодно и с пассивностью смотрю на жизнь. Как тут мстить, когда виноваты все... Да кстати — вместе со всеми Нечаевками — отрекись от *абортивных* освобождений, — в истории можно забегать — но уж тогда отвыкни жалеть погибающих, жалеть личности. И, действительно, ни Пугачев, ни Мара(т) их не жалели. Что за вздор проповедовал ты (и я) о полной свободе не только в выборе, но и в перемене, особенно, прежде, чем ты, как в раму, улегся в фамилиализм. Смотри теперь на развалины кругом...

Собр. соч., т. XXX, 249

Герцен говорит о личном, о трагическом заблуждении дочери, о собственном порыве — отомстить, — а сзади поднимается мрачная фигура Нечаева (и "нечаевок").

Жалеть или не жалеть людей?

Подводятся итоги жизни.

Герцен — Огареву, 2 декабря.

... Самое исцеление Таты меня больше облегчает, чем радует, — впереди завеса. Все черно — и я не могу ни обманывать себя, ни понять после тысячи споров до слез — в чем ты со мной не согласен...

Мы сложились разрушителями, наше дело было полоть и ломать, для этого отрицать и иронизировать — ну и теперь, после пятнадцати-двадцати ударов, мы видим, что мы ничего не создали, ничего не воспитали.

Последствие — или, по просторечью, наказание — в окружающих, в отношениях к семье — пуще всего к детям...

Я смотрю ненужно верно и вижу страшно верно...

Собр. соч., т. XXX, 271

III

Эпистолярный цикл, — письма "К старому товарищу" — последняя работа Герцена, ставшая его завещанием. Цикл состоит из четырех писем. Первые два написаны вчерне в январе-феврале 69 года. Получив рукопись, Огарев показал ее Бакунину. Автор нетерпеливо ждал отклика.

Герцен — Огареву, 10 апреля.

В чем же, наконец, Бакунин согласен, и в чем его проповедь расходится?

Собр. соч., т. XXX, 81

Третье письмо — на это давно обратили внимание исследователи, — начинается обращением во множественном числе:

Нет, любезные друзья, мозг мой отказывается понимать много из того, что вам кажется ясным... из того, что вы допускаете и против чего я имею тысячи возражений...*

Адресат — не один "старый товарищ", не один Бакунин. И Огарев. И Нечаев. И Герцен.

Отношение Герцена к своим оппонентам после свидания в Женеве описано им самим так:

* Здесь и далее (где специально не оговорено) цитируются письма "К старому товарищу."

Собр. соч., т. XX, стр. 575-594.

Герцен — Огареву, 2 июля 69 г.

... Я же говорил о "психе" Бак (уинне), Нечаеве — на пристяжке и о тебе в корню.

Примусь писать в Брюсселе — много набралось материала — не знаю, напишу ли что-нибудь — но надобно было на волю. У вас — отцы-триумвиры — воли быть не может*, да и у всех террористов не может быть — Бак (уинн) тяготит массой, — юной старостью, бестолковой мудростью. Нечаев, как абсент, — крепко бьет в голову. И то же делает безмерно тихая-тихая и платонически террористическая жила, в которой ты себя поддерживаешь.

Мне, наконец, и эта государственная деятельность — на уничтожение государства — и это казенно-бюрократическое устройство уничтожения вещей — сдается каким-то *delirium tremens*. В Нанси и в Страсбурге я насмотрелся на изуродованные статуи-памятники, и мне жаль стало якобинцев, что они так пакостничали.

Собр. соч., т. XXX, 144-145

Личные отношения с каждым из "триумвиров" — особые, несопоставимые. Но перед Герценом идеи, — как ему представляется, — чужие, неверные, даже опасные. Он продолжает спор.

Обращается к себе — молодому, к тому, кто давал клятву на Воробьевых горах, к издателю "Колокола". Это и расчет со своей совестью.

* "Демократическое православие также не дает воли и жмет его как киевопечерское. Тот, кто истину — какая бы она ни была — не ставит выше всего, тот, кто не в ней, и не в своей совести ищет норму поведения, тот не свободный человек".

("Россия и Польша")

Спор многогранен, — о путях освобождения России, о грядущем перевороте. О том, что такое социализм. Идеи, как чаще всего у Герцена, олицетворены.

... одни складываются с молодых лет в попы, проповедующие с катехизисом в руках веру или отрицание — они призывают себе на помощь все средства и все силы, даже силу чудес, для вящего торжества своей идеи...

Портрет фанатика из молодой эмиграции. Полностью, во всех деталях применимый к Нечаеву, — даже слово "катехизис" присутствует. Далее следует автопортрет:

Другие этого не могут — для них голая, худая, горькая истина дороже декорации, для них ризы, облачения, драматическая часть дела смешны, а смех ужасная вещь. Я никогда не мог поступить ни в какую масонскую ложу, боясь своего смеха. Смех мешал мне важно переговаривать о пустяках и священнодействовать вздор...

Герцен, по-прежнему, думает о грядущем перевороте, стремится к нему; ничуть не меньше, чем в юности, он ненавидит царское самодержавие.

Однако его все больше заботят, тревожат, мучают проблемы: *когда* может совершиться переворот; *каким* он будет, *что* может принести русскому народу, России, миру.

Когда может произойти переворот?

В юности Герцен торопился. В течение жизни он учился, — и научился нелегкому искусству — вслушиваться в ритм истории.

... Медленность, сбивчивость исторического хода нас бесит и душит, она нам невыносима, и многие из нас, изменяя собственному разуму, торопятся и торопят других.

... Я несколько не боюсь слова "постепенность", опошленного шаткостью и неверным шагом разных реформирующих властей. Постепенность так, как непрерывность, неотъемлема всякому процессу разумения... Ни ты, ни я не изменили своих убеждений, но разное стали к вопросу. Ты рвешься вперед по-прежнему со страстью разрушения, которую принимаешь за творческую страсть... ломая препятствия и уважая историю только в будущем.*

Я не верю в прежние революционные пути и стараюсь понять *шаг людской* в былом и настоящем, для того, чтобы знать, как идти с ним в ногу, не отставая и не забегая в такую даль, в которую люди не пойдут со мной — не могут идти.

Герцен призывает понять шаг людской, ощутить ход истории с ее спиралеобразными изгибами, с ее, истории, умом и ее глупостью. В

* В другой работе Герцен гневно спрашивал: "Неужели вы обрекаете современных людей на жалкую участь кариадид, поддерживающих террасу, на которой когда-нибудь другие будут танцевать... или на то, чтобы быть несчастливymi работниками, которые по колено в грязи тащут барку с таинственным руном и надписью "прогресс в будущем" на флаге..."

перевороты неизбежно втягиваются массы людей, а движение масс подвержено не только рационально постижимым, но и непостижимым приливам и отливам.

Огарев проводит много времени в обществе Бакунина, Нечаева. И возражает Герцену:

... со стороны *оной постепенности* я стать не могу... Да и не вижу в историческом ходе рода людского этой беспрерывной, неуловимой инкубации...*

Я не могу согласиться с тобой о ненужности революции и не могу согласиться с юношами об исключительности революции.**

Нечаев (который даже назначил год, месяц, день начала революции – 19 февраля 1870 года):

... изменение существующего строя – исторический закон; не дожидаясь, пока этот закон проявится во всей своей полноте силой времени и обстоятельств, – что неизбежно, так что все дело во времени, – надо ускорить это проявление.

Настроение, выраженное Нечаевым, возникало и возникает в истории в разных странах, у разных людей. Несколько лет спустя после этого спора Г. Ткачев восклицал в письме Лаврову:

”Учитесь! Приобретайте знания!” О, Боже, неужели это говорит *живой* человек *живым* людям. Ждать. Учиться, перевоспитываться. Да имеем ли мы право ждать? Ведь каждый час, каждая минута, отделяющая нас от революции, стоит народу тысячи жертв.

А столетие спустя американский белый юноша, впервые попавший на Юг, словно повторяет:

* ”Литературное наследство”, т. 61, стр. 196

** ”Литературное наследство”, т. 89-40, стр. 349

Все, что я здесь увидел, так гнетет меня, что я полностью подавлен. Условия жизни столь ужасны, негры столь угнетены, настолько лишены надежды, что я хочу изменить все это немедленно. Это я пишу вполне искренно. И заниматься школами свободы — это бессмысленная трата времени. Я не хочу сидеть в классе. Я хочу выйти и взорвать парочку правительственных зданий, — не убивать людей, конечно, но разрушить присвоенную ими собственность, потрясти их, доказать, что мы здесь — с серьезными намерениями...

Несравненно труднее, гораздо менее эффективно, но и несоизмеримо плодотворнее для революционера, для общественного деятеля, для любого человека, который хочет вести других, — услышать этих других.

Письма "К старому товарищу" — альтернатива нечаевской программе. И кроме предположений, — на мой взгляд обоснованных, но все же лишь предположений, — о закулисной роли Нечаева в женевских спорах в мае-июне, существует и документальное тому свидетельство. Письмо Бакунина Нечаеву, названное "соборным" посланием, писанное уже после смерти Герцена, 2-9 июня 1870 года. Оно обнаружено французским историком Конфино в архиве Натальи Александровны Герцен и опубликовано в Париже и в Лейдене*.

*Cahiers du Monde Russe et Sovietique, Paris, 1969, VX. Michel Bakounine et ces relations avec S. Nechaev, Leiden, 1971. M. Confino. Violence dans la violence. Le debat Bakounine — Nechaev, Paris, 1973.

Отрывки из этих, ныне полностью опубликованных, писем, печатались и ранее, в сборнике писем М. Бакунина, 1906 г., приводились и в работах советских

Бакунин множество раз высказывался, в соответствии со своей анархической программой, — в духе, прямо противоположном, а то и враждебном Герцену. Тем более важно, что в споре с Нечаевым Бакунин приводит герценовские доводы, мысли, даже слова. Это не заимствование чужого, скорее освоение. Слишком часто обо всем этом было говорено и в Женеве, и раньше, в Лондоне, кое-что запало и вышло наружу именно в столкновении с Нечаевым; психологически это вполне достоверно.

Письмо Бакунина — важная составная часть спора.

Антинечаевские, — да и антибакунинские — утверждения этого письма не единичны, не вырваны из контекста, а пронизывают его насквозь.

Бакунин — Нечаеву.

... народ искусственно возбудить невозможно. Народные революции порождаются самою силою вещей или тем историческим током, который подземно и невидимо, хотя и непрерывно и большею частью медленно течет в народных слоях... такую революцию нельзя даже значительно ускорить... Все тайные общества... должны прежде всего отказаться от всякой нервозности, от всякого нетерпения...

историков и литературоведов:

П. Пирумова — Бакунин. ЖЗЛ, 1970; "Новое о Бакунине на страницах французского журнала", "История СССР", 1968, №№8; Е. Рудницкая — "Новое о нечаевском Колоколе" (в сб. "Проблемы истории общественного движения", М. 1971; В. Путинцев — "Н.П. Огарев в русском революционном движении", М., 1963.

Важнейший вопрос в споре о перевороте, —
насилие.

Герцен

Насильем и террором распространяются религии и политики, учреждаются самодержавные империи и нераздельные республики, насильем можно разрушить и расчищать место — не больше. Петроградизмом социальный переворот дальше каторжного равенства Гракха Бабефа и коммунистической барщины Кабе не пойдет.

К проблеме насилия Герцен неоднократно обращался и раньше, в связи с прокламацией "Молодая Россия" (1862 г.), он пишет в "Колоколе", что не веру в насильственные перевороты "мы потеряли, а любовь к ним" (или: — "мысль о перевороте без кровавых средств нам дорога").

Огарев возражал:

Я не вижу в истории ни одного примера такого развития понимания, которому властвующее меньшинство уступило бы добровольно. Подвинулись ли мы в 1869 году настолько, чтобы развитие народного понимания могло идти как координата с народным терпением?...

Какие бы ни были вспышки, каждая вспышка станет новым запросом на пересоздание общественности, которой, без этой вспышки, хотя бы вспышка рухнула, не проснуться бы... помешать мы им не можем... Что же нам остется делать? Помогать им по мере сил. Это мы обычно и делали. *

* "Литературное наследство", т. 61, стр. 200

Замечания Огарева серьезны. Герцен, как и раньше, прислушивался, кое-что правил. Но основная мысль осталась.

Герцен — в отличие от молодых радикалов — современников — никогда не звал Русь к топору. Но он не отрицал неизбежности и, даже необходимости насилия в определенных исторических ситуациях. Так, он в свое время и пугачевщину не считал дорогой платой за отмену крепостного права. (Стоит сравнить: не политический боец, — тишайший Алеша Карамазов на вопрос, как поступить с убийцей ребенка, не задумываясь отвечает "расстрелять!". Не "застрелить" — тут же, на месте преступления, а "расстрелять", то есть кара, налагаемая обществом или государством).

Нечаев писал: "Начало нашего святого дела положено утром — 4-го апреля выстрелом Каракозова". На газете, им издаваемой, "Народная расправа", топор — в гербе.

Каким же, если не насильственным, каким по характеру мыслился Герцену грядущий переворот?

Новый, водворяющийся порядок должен являться не только мечом рубящим, но и силой хранительной. Наноса удар старому миру, он не только должен спасти все, что в нем достойно спасения, но оставить на свою судьбу все не мешающее, разнообразное, своеобычное. Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту, который из всего бывшего и нажитого сделает скучную мастерскую, которой

вся выгода будет состоять в одном пропитании, и только в пропитании.*

Меч рубит сразу, порядок *водворяется* постепенно. Устраивается человеческая жизнь. И изменяется, переделывается, — во всяком случае, Герцену казалось, что так быть должно, — по нормальному ритму.

В рукописи Герцена стояло слово "социализм". Оно зачеркнуто, заменено фразой "новый, водворяющийся порядок". Уже в герценовские времена в понятие "социализм" вмещалось многое, и совершенно чуждое Герцену. Уже тогда можно было спросить: какой социализм? По Чернышевскому? По Герцену? По Нечаеву?

"Новый, водворяющийся порядок..." — это широко, без определяюще-ограничивающего ярлыка.

Переворот, бедный духом и тощий художественным смыслом, не может принести счастья людям. Герцен отбирает каждое слово: "Оставить на свою судьбу все не мешающее, разнообразное, своеобразное..." То есть, индивидуальное. Свобода лица. Он и раньше на разные лады повторял одну и ту же мысль:

* Луначарский, выступая в 1920 году на вечере, посвященном Герцену, приводит его слова о перевороте, бедном духом и тощим художественным смыслом и комментирует: "... эти опасения самым реальным образом грозили нам... Напрасно, однако, опасался Герцен..."

Когда бы люди захотели, вместо того, чтобы спасти мир, спасти себя, вместо того, чтобы освободить человечество, себя освободить, — как много бы они сделали для спасения мира, для освобождения человечества.

Свобода лица — величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти свобода народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, чем в ближнем, чем в целом народе...

Нечаев утверждает нечто прямо противоположное:

Свобода лица, проявляющаяся в деятельности, противной воле большинства, естественно должна быть стеснена...

Видел ли Герцен перевороты, исполненные высокого духа и пропитанные художественным смыслом?

Видел факельное шествие в Риме в начале 48-го года. Массовое и стройное. Итальянцы приветствовали республику. Герцен с женой и друзьями из сочувствующих зрителей превратились в участников.

На балконе рядом с итальянскими лидерами стояли четыре русских женщины. "Да здравствуют иностранки!" — кричали проходящие. Это было прекрасно, величественно и, в те минуты, — реально. Хотя сам Герцен называл этот неповторимый момент "итальянским сном".

Итальянец Джузеппе Гарибальди — единственный в своем роде герой "Былого и Дум".

Его поведение, его сила и мужество исполнены еще и красоты.

В 1854 году Гарибальди предлагает эмигрантам всех наций взойти на борт корабля, а он будет капитаном. Корабль станет бороздить моря, вызывать бунты, причаливать к берегам краев, охваченных революциями. Красота романтична.

А в 1864 году чопорный Лондон приветствовал "некоронованного короля". Герцен оплакивал поражение Гарибальди, сатирик, одолевший романтика, разоблачал закулисные махинации вокруг наивного человека, но сам итальянец в красной рубашке оставался прекрасным.

Другой тип красоты изображен Герценом в Польше — *Mater dolorosa* — красота самопожертвования, рыцарства в эпоху всеобщего торгашества. Портрет Ворцеля близок иконописи. При этом автор не обходит ни уродливой бедности, ни ссор из-за денег, ни мелких дрызг, окружающих и этого рыцаря. Но за всем этим, над всем возвышается революционно-религиозная духовность. Национальная. "Последние события в Польше вдохновят еще не одного поэта, не одного художника". Герцен оказался прав, — такая Польша и родила Мицкевича, Словацкого.

В России в ореоле красоты предстают декабристы. Восхищение ими Герцен пронес через всю жизнь; прославил их пятью медальонами на "Полярной звезде"; теми публикациями, из которых читающая Россия впервые узнала о том, что произошло в 1825 году. Из вольной русской типографии в Лондоне пришли на родину первые слова о героях четырнадцатого декабря:

Герцену дороги были и сами формы поведения декабристов, — от каре на Сенатской площади до подвига жен, поехавших вслед за осужденными мужьями. (Современный читатель не должен забывать, что Герцен еще почти ничего не знал о показаниях декабристов на следствии.)

Он вообразил их прекрасными юношами. Он увидел их и прекрасными старцами, не сломленными годами каторги, Сибири. Таким он написал портрет Сергея Волконского.

Красоту Герцен увидел в переворотах несовершенных, или, — за исключением похода Гарибальди, — потерпевших поражение.

Грядущий переворот в России страшил Герцена, — по людям, его предвещавшим, — отсутствием красоты.

”Красота спасет мир”, — сказал Достоевский.

Только в том случае, — считал Герцен, — хоть как-то оправданы неизбежные при любом перевороте жертвы, если в хрустальном дворце будущего *сохранятся* (“Хранительная сила!”) величайшие богатства, нажитые человечеством. Культура. Ум и душа нации.

На склоне лет Герцен ощущал все возрастающую тягу к родному Покровскому, — не только ностальгически. Сотни помещиков секли крестьян, — об этом он никогда не забывал, написал сотни страниц. Но в десятках усадеб, похожих на Покровское, рождалась русская культура. Сохранялась. Передавалась.

Именно в Покровском он, маленький ребенок, увидел протяженность — как раскрывают-

ся почки, как зеленеют, потом желтеют, потом опадают листья на деревьях. Там наглядной была естественность и ритм цикла природы. Тогда запало то, что много лет спустя воплотится в слова: "... не учиту колосу, а дайте ему развиваться..."

За границей — иной быт, суетность, чужие дома, меблированные комнаты, отели, перемены.

Не дал, не мог дать своим детям постоянства, покоя.

Не дал детям того дома, из которого на всю жизнь уносят представление об устоях.

Мальвида Мейзенбург — и Достоевский, — полагали, что все дело в безрелигиозности Герцена.

Думаю, что устои возникали, возникают и будут возникать и в безрелигиозных семьях. Где царит любовь, одухотворяющая неизменную косность быта, забота, внимание старших друг к другу, к близким, к дальним, к детям.

Где есть нечто неизменное, как портреты предков, висящие на определенных местах, как постоянно расставленная мебель, нечто повторяющееся, как звон колокольчика к завтраку, к обеду, к ужину.

Когда Александр Иванович в 1868 году лечился от диабета, к нему в Виши приезжали Наталья Алексеевна и Лиза. Письма этого месяца выделяются на общем драматическом фоне радостью, спокойствием. Значит, хоть на месяц оказался суррогат дома, — с некой устойчивой повторяемостью.

Устой, стоять, выстоять, устойчивость, — вот чего не дал, не мог дать близким. Дал "фибрин" ума.

Прав был Достоевский: поэтическое начало в Герцене важнее всего. Любой отсчет идет от культуры.

Дикие призывы к тому, чтобы закрыть книгу, оставить науку и идти на какой-то бессмысленный бой разрушения, принадлежат к самой неистовой демагогии и самой вредной...

Нет, великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей. Христианство проповедывалось чистыми и строгими в жизни апостолами и их последователями...

Та же мысль изложена и в письме Огареву от 3-го октября 69 г.

Разница в определении момента, разница в определении средств... и по-моему это вовсе не шуточное дело — совершенная разница языка, глоссологии. Тебе, например (именно) кажется хирургическая фраза — не беда, а мне — беда. Ты думаешь, что призыв к скверным страстям — отместка за скверну делающуюся, а я думаю, что это — самоубийство партии, и что никогда, нигде не поставится на знамени эта фраза.

Собр. соч., т. XXX, 207

В письмах "К старому товарищу" мысль, неизменно соединенная с лирическим ощущением — воспоминанием повторяется, развивается:

Я это так живо чувствовал, стоя с тупой грустью и чуть ли не со стыдом... перед каким-нибудь кустодом, указывающим на пустую стену, на разбитое изваяние,

на выброшенный гроб, повторяя: "Все это истреблено во имя революции".

Искусство и наука ниспровергались в бакунинских листовках, и в листовках, написанных Бакуниным совместно с Огаревым. И, разумеется, самым категорическим образом, — у Нечаева.

Не признавая другой работы, кроме приготовления социальной революции, мы отрицаем честность всякого труженичества и преданности науке, искусству или чему-либо, если в основании этого труженичества и преданности лежит не вывод из анализа современной жизни, а какое-нибудь частное стремление или какая-нибудь частная цель.

* * *

Последний год, столкновение с врагами и споры с союзниками, развал семьи — все подводило Герцена к мысли о *цене* распада.

Так было всегда. Исследование драмы 49-52 годов было не просто историей одного банального треугольника.

Герцену, — как и многим людям, приходилось прощаться с прежними друзьями. Но, пока дружба длилась, это была истинная религия, не имеющая никакой цели, никаких "видов" вне самой дружбы.

Нечаев проповедует нечто прямо противоположное:

Мера дружбы, преданности, прочих обязанностей в отношении к... товарищу определяется единственной

степенью — полезности в деле всеразрушающей практической революции.

В последние годы Герцен все больше думает о сохранении, — культуры, семьи, личных отношений, человека.

Герцен — Огареву, 14 августа 1868 г.

Отказаться от всего и ждать, когда условия жизни и мозгов дозvoлят уравнивание, можно. Но, если хочешь спасти — то Лизу, то Тату... устроить какую-нибудь жизнь, сносную для себя и десяти других, когда видишь, что без тебя все рухнет, — тогда надобно иметь волю или страдать, проклиная свою слабость... Ты был поставлен необыкновенно счастливо временем и обстоятельствами. Мимо тебя все идет не зацепляясь, все на свете понимая глубоко — ты выходишь сух из воды. Отсутствие детей сняло с тебя страшные вериги, вымышленные отношения все же легче. Вместо крутой раздражительности, невольно берущей мелочи к сердцу, — у тебя кроткий и безмерный эгоизм — и притом до нежности гуманный. Внешний ветер не поднимает злую тину со дна, а только подергивает темной зыбь. Тебе иерархическая власть была не нужна, ты никого не вел, не тащил, — и если попал в беду, то попал один. Все скверное, что разрушено, — разрушено волей против авторитета. Все хорошее, что создано, — создано авторитетом...

Собр. соч., т. XXX, 2, 434-435

В малых пределах семьи он возвращался к тому, что начал ниспровергать еще подростком, юношей, — к авторитету. Понимая под словом "авторитет" не столько иерархию власти, сколько иерархию накопленного опыта. Право возраста.

К новой оценке авторитета вел и груз ответственности. Постоянно побуждая, вынуждая

вынуждая к решениям, которые никто не мог свершить, — во всяком случае не свершал, — за него. А он за других — постоянно.

Находить человеческие решения, человеческий выход из безвыходности всегда трудно. Сравнительно легче, — если ты один, если отвечаешь только за себя, должен справляться только с собой.

Несравненно труднее, если позади длинная дорога, ты опутан бесчисленными связями; любой твой шаг (и отсутствие шага) отзывается на других людях.

Герцену приходилось именно так. Искать. Ошибаться. Не всегда находить. Но неизменно думать не только о себе. Его мучила проблема последствий; часто (и бесплодно) спорит об этом с Огаревым.

Для безрелигиозного Герцена личная ответственность за свершенные и несвершенные поступки, — основа нравственности. И в личном, и в общественном поведении.

* * *

Любой новый порядок водворяется людьми. Как должны относиться люди друг к другу в процессе переворота и после победы?

Герцен

Навязываемое предрешение всего, что *составляет вопрос*, поступает очень бесцеремонно с *освобожденным веществом*. Взять вдруг человека, умственно дремавшего, и огоршить его в первую минуту, спросонья, рядом

мыслей, сбивающих все его нравственные понятия и к которым ему не поставлено лестницы, — вряд ли много послужит развитию! — а, скорее смутит, собьет с толку оглашенного или, обратным действием оттолкнет его в свирепый консерватизм.

Герцен повторяет, — с небольшими вариациями, — высказанное им в 1863 году в заметке "Мясо освобождения". Даже среди его статей она выделяется глубиной, новизной мысли и стилистическим блеском. "Мясо освобождения" — уже в заголовке — убийственная точность. Это до Нечаева, но о Нечаеве и нечаевщине.

Желая *восстановить* свободу народа и признать его совершеннолетие, для скорости обращаются с ним, как с материалом благосостояния, как *мясом освобождения*... вроде наполеоновского пушечного мяса.

Этот богатый барин больше заботился о народе, — не только о его благе, но и о его суверенном праве самому решать, *какое* благо ему нужно, чем сын полотера, нищий недоучившийся студент.

Бакунин — Нечаеву

Ваше самоотверженное изуверство, ваш собственный истинно высокий фанатизм Вы хотели бы... сделать правилом общежития... Вы совсем не верите в людей, вследствие чего вы отнюдь не рассчитываете на страсть, возбужденную в них, на создавшееся в них направление, на самостоятельную честность их стремлений к вашей цели, а стараетесь их закрепить, запутать, связать... так, чтобы раз попавши в ваши руки, они никогда не могли бы вырваться из них.

Бакунин обвиняет Нечаева именно в полнейшей бесцеремонности с освобожденным веществом. И продолжает:

Тайная организация "должна сделаться практической школой нравственного воспитания для всех ее членов..." (огромная задача) "... пережив самое торжество революции на другой день после народной победы сделать невозможным установление какой бы то ни было власти над народом — даже самой революционной, даже вашей, потому что всякая власть, как бы она ни называлась, непременно образом подвергла бы народ старому рабству в новой форме".

Герцен

Взять неразвитие силой невозможно... Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри.

Принадлежность к революционной партии, участие в самой революции вовсе еще, по Герцену, не гарантирует свободы автоматически. Он писал Гервегу (в период наибольшей близости):

... Вы не свободны... Вы скорее бунтарь, чем независимый человек...

Собр. соч., т. XXIII, 232

Очень важное различие. Независимость дается лишь сочетанием, слиянием наружного и внутреннего освобождения. Или, вернее, не освобождения, а свободы. Рожденной вместе с человеком, или обретенной, — но так прочно, что уже и не остается следов процесса освобождения.

Мысль о сложной связи наружного и внутреннего освобождения проходит через все книги Герцена.

Этой мыслью, в частности, наполнена глава "Былого и Дум", посвященная другу юности -- Кетчеру. Женой Кетчера стала встреченная случайно на улице нищая девочка, выросшая в раскольничьем скиту. Ее приблизили, приняли в объятия его друзья. "Между Кетчером и Серафимой, между Кетчером и нашим кругом лежал огромный, страшный обрыв, во всей резкости своей крутизны, без мостов, без брода". Никто, по началу, этого не видел, не хотел видеть. А потом не знали, как исправить. Не поставили, не сумели поставить лестницы. Когда, при первых же трещинах, обнаружилась эта глубокая чуждость, -- Серафиму резко оттолкнули, а вместе с ней и Кетчера.

Герцен называет мезальянс "вперед посеянным несчастьем".

Скачки в умственном и нравственном развитии могут наносить и вред. Порою -- непоправимый. Только гениальным одиночкам дано одолеть неразвитие сразу, мгновенно. Большинству же надо этот опыт выстрадать, вышагать. Для этого, в числе прочих факторов, необходимо и время, -- долгий путь в поколениях.

Постепенность изменений нужна и обществу, и отдельному человеку. Воздвигать лестницы к новым мыслям, новым нравственным понятиям, -- в этом Герцен видел важнейшие задачи интеллигенции, самый смысл просвещения.

Я не верю в серьезность людей, предпочитающих ломку и грубую силу *развитию и сделкам*. Между конечным выводом и современным состоянием есть *компромисс*.

Таким компромиссом были и обращения Герцена к Александру II вскоре после начала его царствования.

Эти обращения критиковали современники, второе столетие их критикуют потомки, считая, что это — грубая ошибка издателя "Колокола". На этом сходятся люди разных — причем крайних — политических убеждений. А почему, собственно? Царь был на Руси не только реальной силой. Царь был еще и народной легендой, — самой укорененной русской легендой.

Герцен пророчески ощутил: благодаря исторически сложившимся обстоятельствам любая оппозиция в России должна пытаться установить диалог с властью.

К царю обращался общественный деятель, стремящийся к реальным переменам у себя на родине, а не к эффектным революционным фразам. Обращался в тот момент, когда лед тронулся, освобождение крестьян началось, и началось сверху.

Но обращался еще и человек к человеку. С глубокой верой в то, что в каждом, — даже в царе, — есть какие-то, пусть и потаенные, пусть и неведомые ему самому уголки, куда дойдет правдивое, искренне слово. Возможность эта минимальна. Но она есть и упустить ее — преступление.

Письма к царю понятны крестьянам, — это давняя народная традиция. Письма — тоже разновидность лестницы, по которой можно подняться и до осознания необходимости самоосвобождения.

В статье "Даниил -- Тьер", написанной в 1869 году, автор закликает власть имущих: -- Сохраните.

Может на нас, людях, принадлежащих к обоим мирам -- к одному по случайности рождения, к другому по избирательному сродству, -- лежит долг повторять сторожевой крик и призыв к разуму упорствующих. Если он не устранил страшное столкновение, то может смягчить его удары, а это само по себе великое дело... "Вглядитесь. -- хочется им сказать, -- в то, что делается, и не отстаивайте того, что нельзя отстоять, -- для того, чтобы уцелела хоть часть того, что не должно погибнуть, но погибнуть может".

Собр. соч., т. XX, стр. 574

Смягчить удары неминуемого столкновения, -- это тоже компромисс.

Трудная, неудобная, невыгодная позиция. Тобою недовольны обе стороны. Ты везде чужой. На тебя сыпятся удары со всех сторон. Раненный, сломленный Герцен продолжает путь. Не "себе в пощаду". А, прежде всего, -- другим в пощаду. Неотступно думая о России, о том, какие выходы, какие пути наиболее возможны и наиболее человечны. Слушая, -- по урезанным эмигрантским возможностям, -- но слушая шаг русской жизни.

* * *

Компромисс по сути своей антипартиен. Герцен сторонится всего хоть отдаленно напоминающего партию в отношениях с соратниками. Нечаев же начинает именно с партии, себя

назначая вождем. И составляет сразу устав — "Катехизис революционера". Автор не церемонится не только с "освобожденным", но и с "освобождающим" веществом.

Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным, исключительным интересом, единой мыслью, единой страстью — революцией... Он презирает и ненавидит... нынешнюю нравственность. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему... Природа настоящего революционера исключает даже личную ненависть и мщение. Революционная страсть, став в нем обыденностью, ежеминутно должна соединяться с холодным расчетом.

Герцен, обращаясь к реальности, с горечью осуждает тех революционеров, которые на самом деле ушли далеко от народа.

... они полагают возможным начать экономический переворот с *tabula rasa*, с выжигания до тла всего исторического поля, не догадываясь, что поле это своими колосьями и плевелами составляет всю историческую почву народа, всю его нравственную жизнь, всю его привычку и все его утешенье. С консерватизмом народа труднее бороться, чем с консерватизмом трона и амвона.

Бакунин почти буквально повторяет герценовские мысли в письме Нечаеву:

Наш народ — не белый лист бумаги, на котором любое тайное общество может написать, что ему угодно — например... программу свою, которую тайная организация должна узнать, угадать, и с которой она

обязана будет сообразовываться, если только желает успеха.

Публикации Нечаева 1869-1871 гг. лишь частично рассматривались в связи с Герценом и письмом Бакунина Нечаеву. Между тем, в "Народной Расправе" (любопытно, что перевод на французский язык "Justice de peuple" не верен. Не "Справедливость" или "Правосудие", а "Расправа". Нечаев был точен.) и в маленьком листке "Община" он яростно нападает и на Бакунина и на Герцена.

"Община" (август 1870 г.)

А. Герцен в одной из своих статей ("Полярная звезда") тщетно силился отыскать связующие нити между Базаровым и Печориным, Рудиным... попытки не удались, потому что между нами и ими нет ничего общего, ничего связующего, кроме слов: социализм, революция и прогресс, которые мы, однако, понимаем иначе, чем они.

Поколение, к которому принадлежал Герцен, — последнее, заключительное явление либеральничающего барства... тепличный цветок, быстро увядший... Они критиковали существующий порядок с язвительной, салонной ловкостью, утонченным поэтическим языком... Они были довольны своими ролями. Слушатели (почти все) проповедей Герцена хотели только критику, ибо всякая программа нарушила бы их благополучие... Наслаждавшиеся чтением его "Колокола" также бесцельно и безрезультатно, как они наслаждались балетным канканом или арией певицы, получавшей за вечер сумму, превосходящую годовой доход целой деревни. Другие слушатели Герцена в весьма небольшом количестве были мы. Не услышав ничего положительного, мы должны были с презрением отвернуться от дилетантов (не отзывается ли тут название герценовской работы "Дилетантизм в науке"? — Р.О.),

которые из гадостей существующего строя сделали новое удовольствие и наслаждение звучным языком и картинным изложением при описании народных несчастий... Мы сочли паясничаньем всякую насмешку над тем, что не знаешь, чем и как заменить... Когда мы намекнули этим дилетантам о последовательности между словом и делом, мы сразу оттолкнули их от себя и от либерализма... Потоки грязи полились на всех тех, которые хотели быть последовательнее. Либерализм их переходит теперь в лютую ненависть к "безумным мальчишкам"... "

В этом же номере "Общины" помещено письмо издателя Огареву и Бакунину. Нечаев требует остатки бахметьевского фонда и развивает ту же мысль, — только высказанную с удивительными для него церемонными оборотами.

Отказываясь отныне от всякой политической с вами, милостивые государи, солидарности, тем не менее, не перестаю смотреть на вас, как на лучших представителей поколения, к сожалению, бесследно сходящего со сцены истории...

Расставаясь с вами, м.м. г.г., после окончательного объяснения, я даю вам руку, как друг, и смею надеяться, что не перестану им быть, тем более потому, что между нами не может быть никаких деловых столкновений, т.к. я глубоко уверен, что вы никогда не выступите более как практические деятели русской революции...

Когда весной 1870 года Нечаев изложил свою программу старшей дочери Герцена, она, в тот момент настолько увлеченная опасной игрой, конспирацией, переправкой рукописей, — да и любовными признаниями наставника, — тем не менее реагировала определенно. Она записала в дневнике:

”Понять можно только одно, что это проповедует страшную ипокризию... цель оправдывает средства”, — сказала она Нечаеву.

Он подтвердил: ”Надобно просто взять их (иезуитов) правила, с начала до конца, да по ним действовать, переменяя цель, конечно”.

И удивило, и испугало меня это объявление... Чем больше (Нечаев) развивал необходимость такой системы и пускался в подробности, как, например, необходимость иногда подслушивать у дверей, распечатывать чужие письма, лгать и т.д., тем более удивлялась я, как Огарев мог соглашаться с таким образом действий. Когда я его об этом расспрашивала, он мне только отвечал:

— Бывают случаи, когда лгать необходимо.

— Ну, а подслушивать, чужие письма распечатывать и т.д.

— Да, на практике это иногда приходится делать, — был его невинный ответ.

Альбер Камю в книге ”Человек-бунтарь” (1951 г.) посвящает Нечаеву отдельную главу. Камю полагает, что с Нечаевым ”революция впервые откровенно отделяется от любви и дружбы”. ”Оригинальность Нечаева в том, что он оправдывает насилие по отношению к братьям”. Камю сопоставляет нечаевские догмы с ”религиозно-этическими основами социализма декабристов, Лаврова и Герцена”.

И действительно, сталкивающиеся принципы прямо противоположны.

В. Засулич о Нечаеве.

Даже к завлеченной им молодежи он, если и не чувствовал ненависти, то, во всяком случае, не питал к ней ни малейшей симпатии, ни тени жалости и много презрения*.

*В. Засулич. Воспоминания. М., 1931, стр. 57

В июле-августе Герцен закончил третье и четвертое письма.

Нечаев в начале августа вернулся в Россию. У него был мандат, подписанный Бакуниным. И посвященное ему стихотворение Огарева*. Две опоры, чтобы уже на родине продолжать творить легенду о самом себе. За границу он приехал, как представитель несуществующей многочисленной революционной организации. В Россию он вернулся, -- как представитель несуществующего Всемирного Революционного альянса. С. Нечаев представлялся как "ревизор от Женевского комитета", -- из показаний нечаевца Успенского на суде. Он начал создавать свои пресловутые пятерки, члены которых обязаны были называть друг друга не по именам, а по номерам. И когда студент Иванов возразил

* Стихотворение Огарева "Студент" было первоначально посвящено "Памяти Сергея Астракова". Бакунин похвалил стихи, но заметил, что было бы полезнее для дела "посвятить молодому другу Нечаеву". (Письма М. Бакунина Герцену и Огареву, 1907, стр. 372-77). Огарев послушался. Герцен удивлялся: "Письмо и стихи получил. Да что же ты Неч(аева) заживо хоронишь?... Стихи, разумеется, благородны, но того звучного порыва, как бывали твои стихи, -- нет". (1 сентября. Собр. соч., XXX, 186).

Опять Герцен ощущает некий элемент фальши сквозь слово. Это самое стихотворение пародирует Достоевский в "Бесах" под названием "Светлая личность", -- якобы вписанное рукою Герцена в альбом Петру Верховенскому.

— он не хотел выполнять директивы, полученные неизвестно от кого, — то 27 ноября 1869 года Нечаев с тремя товарищами убили Иванова.

В "Народной расправе" №2 Нечаев пишет:

... за всякое отступление... лицо выбрасывается из нашей среды, как загнивший член тела... Нужно ли присовокуплять, что его исключение из наших рядов при нынешнем положении, когда весь ход нашего дела и весь механизм и состав наших сил есть непроницаемая тайна для всего остального внешнего мира — что это исключение из списка живых...

Так убийца обосновывает убийства.

В начале декабря Нечаев бежит за границу и 17 декабря вновь появляется в Женеве. Вести об убийстве Иванова Бакунин долгое время считал ложью.*

Герцен, поглощенный тяжелой болезнью дочери, видимо, не знал о преступлении. Но последнее письмо Огареву, касающееся Нечаева (написанное за 8 дней до смерти), твердо: он отдает мужеству Нечаева "полную справедливость, но деятельность его и двух старцев считаю вредной и несвоевременной". (Собр. соч., XXX, 299.)

* * *

Революционер, по Герцену, и тем более революционный вождь, -- человек, умеющий не

* Узнав истину, Бакунин писал Огареву: "...нечего и говорить, какими дураками мы были. Если бы был жив Герцен, как бы он над нами зло посмеялся и как он был бы прав..." — Письма М. Бакунина Герцену и Огареву, 1906, стр. 402.

только вещать, но и слушать. Не только отвечать, но и спрашивать. Не только действовать, но и размышлять.

Из статьи "Мясо освобождения":

Проповедь тиха, изучение медленно, а власть быстра и передовые люди с полной любовью и верой *приказали* другим видеть в темноте.

Герцен считал необходимым сначала просветить тьму. Увидеть самому. Тогда, только тогда, -- открывать другим. Предоставлять им, другим, -- возможность увидеть самим.

Манна не падает с неба -- это детская сказка, -- она вырастает из почвы; вызывайте, умейте слушать, как растет трава и не учите колосу, а помогите ему развиваться, устраните препятствия, вот все, что может сделать человек, и это за глаза довольно...

Вся жизнь Герцена -- нескончаемая проповедь, -- он верит в силу слова.

Нечаев воплощал нечто прямо противоположное.

Кончился период безысходной тоски, нет более глубоко мучающих душу жгущих вопросов, все решено, все дело в факте переворота.

Мы отрицаем все те слова, за которыми не следует немедленно дела. Бесцельная пропаганда, не задающаяся определенно временем и местом для осуществления целей революционных, нам более не нужна. Мало того, она нам мешает. И мы будем всеми силами ей противодействовать.

Герцен

Расчленение *слова с делом* и их натянутое противоположение не выносит критики, но имеет печальный

смысл как признание, что все уяснено и понято, что толковать не о чем, а нужно исполнять. Боевой порядок не терпит рассуждений и колебаний...

Враги наши никогда не отделяли слова от дела и казнили за слово не только одинаковым образом, но часто свирепее, чем за дело.

Что же в Письмах "К старому товарищу" выдвигалось как альтернатива и "старым революционным путям", и "новому революционизму" Нечаева?

Смириться, сложить руки, -- это было не по Герцену. Ему, однако, приходится формулировать трагическую безысходность многих кардинальных проблем грядущей революции.

Герцен не потерял способности слышать чужое горе. На вопрос -- что делать? он неизменно отвечал: проповедовать.

Проповедь нужна людям, проповедь неустанная, ежели путная... Апостолы нам нужны прежде авангардных офицеров, прежде саперов разрушения. Апостолы, проповедующие не только своим, но и противникам.

Герцен определяет свои последние работы, как сторожевой крик: ... Идите, продолжайте идти, но ступая осторожно, медленно, соразмеряя каждое движение с шагом людским. Идите с большим грузом, -- не потеряйте, донесите до следующих поколений все, что накопили предшественники. Берите на себя ответственность за все своеобычное, особенное. Это -- человеческую индивидуальность, лицо -- храните пуще всего.

Тогда вы будете истинными революционерами.

Герцен и Достоевский одновременно столкнулись с тем явлением, которому посвящен пророческий роман "Бесы".

Герцен, в отличие от Достоевского, не считал нечаевщину-бесовщину ни сутью грядущего переворота, ни его неизбежным сопровождающим явлением. Но в последней работе Герцена, написанной за два года до первой редакции "Бесов", воплощены трагические предчувствия. Запечатлены разногласия с бесовщиной по всем пунктам.*

Герцен предощутил опасность разрушения, как до него Пушкин ("Не приведи Господи увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный"), как одновременно -- с ним -- Достоевский.

Он не дожил до русских революций так же, как французские просветители не дожили до французской. Но именно в конце жизни он ясно увидел опасности грядущего переворота и выкрикнул предостережение.

Письма "К старому товарищу" стали итогом наблюдений, одиноких раздумий, страстных споров, интеллектуальных терзаний. И личных бурь.

* С. Гуревич-Лещинер пишет: "Да и сам общий стержень "Бесов" -- обличение ужасов нечаевщины -- находится в том же самом диалогическом соотношении с письмами Герцена "К старому товарищу". ("Русская литература", 1972, № 2; см. также И. Волгин, "Завещание Достоевского", "Вопросы литературы", 1980, №6).

Герцен хотел публиковать письма "К старому товарищу", советовался с друзьями.

Герцен — Огареву, 20 сентября 69 г.

Есть же люди, которые понимают точно так, как я хотел высказать в письмах к Бак (унину), а теперь ужасно жалею, что они не были напечатаны.

Собр. соч., т. XXX, 196-197

Читал рукопись вслух в Париже Н. Белоголовому в сентябре 69 г., в Брюсселе — Н. Пятковскому; с ним шли переговоры о возможности публикации даже в России, в "Отечественных записках".

Он не хотел, однако, чтобы его инакомыслие стало известно, — потому и просил сына молчать о разногласиях с Огаревым и Бакуниным. Но высказанные мысли были ему слишком дороги, чтобы оставаться только в личном архиве...

Разрешить это противоречие Герцен не успел.

После выздоровления дочери Герцен обосновался в Париже. Собрал всех родных, — начала осуществляться мечта. Продолжал заниматься политикой.

П. Боборыкин вспоминает:

Все волновало Герцена, точно молодого политического бойца. Он ходил повсюду, где появлялось брожение, посещал публичные лекции и сходки.

На одной из таких сходок, — на похоронах убитого журналиста Ле Нуара, — он и простудился. Воспаление легких, несколько дней

тяжелой болезни и смерть в ночь на 22 января 1870 года.

После его смерти члены семьи стали готовить сборник статей. Огарев просил не включать Письма. Сын излагает Наталье по поводу этой просьбы свои недоумения: "Ежели он неправ, -- докажи. Ежели он прав, -- соглашайся. Но, ради несчастного Огарева, я согласен отложить до второго тома".

В это время Наталья Алексеевна в Женеве получает на бланке "Народной расправы" угрозу:

№108

7 марта 1870 г.

Узнав, что фамилия когда-то бывшего русского деятеля Герцена думает начать издание сочинений покойного выпуском тех его статей, которые написаны им незадолго до смерти, в те дни, когда, отдалившись от активного участия в деле, началу которого он больше всех содействовал, покойный переживал тот внутренний разлад между мыслью и положением, что составляет неотделимую принадлежность предшествующего поколения, вышедшего из рядов хотя и талантливого, но все-таки тунеядствующего меньшинства барства, знающего соль и горечь русской жизни только из книжек...

Мы заявляем, что статьи столько же противоположны его прежним, несомненно даровитым произведениям, сколько и всему современному настроению молодых умов России, что и сам Герцен никогда бы не согласился издать эти произведения в настоящем виде...

Высказывая наше мнение г.г. издателям, мы вполне уверены, что они, зная с кем имеют дело и понимая положение русского движения, не принудят нас к печальной необходимости действовать менее деликатным образом.

И содержание, и язык, и бланк -- все свидетельствует: автор -- Сергей Нечаев.

Наталья Алексеевна пересылает это письмо Александру. Он просит рукопись немедленно сдать на хранение в сейф Фогтам, — да, они знают, с кем имеют дело... А копию срочно готовить к печати. Решение свое он обосновывает в письме к Огареву так:

Я ненавижу деспотизм, правительственную цензуру, от кого бы они ни происходили; те, кто употребляет средства наших врагов, бояться гласности, свободной речи, публичности, всякого мнения (да еще с угрозами), — те не люди свободы, и никогда не произведут ее нигде.

Стоило оставлять Россию, чтобы и за границей жить под указами, приказами, цензурой и угрозой "менее деликатных мер"! Чем это лучше Николая Павловича?

... Я поступаю по совести; мой долг перед *ним*, перед Россией напечатать все его статьи; а там — кому это будет полезно и кому вредно — это другое дело и не мое...

Нечаев был по-своему последователен, его не обмануло чутье: герценовское заключительное слово действительно вредно для нечаевцев всех оттенков. Тогда и теперь.

Агент III отделения, Роман (под именем издателя Постникова он втерся в доверие к Герцену и Огареву; ему удалось получить у них архив князя Долгорукого, завещанный покойным Герцену), продолжал следить за Огаревым и семьей Герцена. Он доносит, что Н.А. Тучкова-Огарева "напечатает здесь оставленные мужем записки-мемуары. Опять новая социальная пропаганда, и я убежден, что будет

сильнее и лучше (т.е. хуже для нас) памфлетов Бакунина и Огарева”.*

Осенью 1870 года в Женеве появилась книга: А.И. Герцен. ”Сборник посмертных статей”. Издание детей покойного.

Там впервые были напечатаны главы из ”Былого и Дум” — ”Молодая эмиграция”, ”Общий фонд”, ”Бакунин и польское дело”, и письма ”К старому товарищу”.

IV

”Хорошо уснуть на заре, ... после длинной ненастной ночи, с полной верой, что настанет чудесный день!... Так умер Грановский.”**

Но так не дано было умереть Герцену.

Шестьдесят девятый год -- последний, пятый акт трагедии. Ему было предначертано прожить этот год.

Страшный на первый взгляд вопрос, -- вовремя ли умер Герцен, -- возникал еще при его жизни.

А. Никитенко записывает в дневник 12-го января 1864 г.

На днях разнесся слух, что Герцен умер, а теперь говорят, что это ложь. Умер ли, жив ли он, впрочем теперь, на мой взгляд, решительно все равно для России. Вряд ли отныне от него может быть для нас польза или вред. ***

* Цит. по книге Р. Кантора — В погоне за Нечаевым. Петербург, 1922, стр. 47.

** ”Былое и думы”, ч. III, стр. 102.

*** А. Никитенко — Дневник цензора, т. I, стр. 158.

Вопрос о "своевременности" смерти возник сразу же и у друзей. Тургенев пишет Анненкову 22 января 1870 г.:

Я с час тому назад узнал, что Герцен умер. Я не мог удержаться от слез. Какие бы ни были разногласия в наших мнениях, какие бы ни происходили между нами столкновения, все-таки старый товарищ, старый друг исчез... Вероятно, все в России скажут, что Герцену следовало умереть ранее, что он себя пережил; ... но что значат эти слова, что значит так называемая наша деятельность перед этой пропастью, которая нас поглощает?

Вероятно: умереть ранее -- это в тот вершинный момент, -- умереть в сопровождении громкого звона "Колокола".

Тогда не взошел бы на иную вершину...

Для личности такого масштаба вопрос о времени смерти, -- отнюдь не праздный. Нет, Герцен не пережил себя. И его встреча с Нечаевым -- не случайность.

Герой трагедии сталкивается с обстоятельствами, противостоит им, может погибнуть (и, чаще всего, действительно гибнет), но не становится просто жертвой обстоятельств.

Герой равновелик обстоятельствам.

По классическому определению трагедия включает и трагическую вину. Герой сталкивается с последствиями своих поступков, не совершать которых он не мог. Даже и зная наперед все, что придет позже.

Это относится и к встрече с Нечаевым и к опрометчивому второму браку и к судьбе детей; шестьдесят девятый год был тем годом, когда

Герцен непосредственно столкнулся с последствиями своей жизни. Увидел в Нечаеве, — пусть и страшно искривленное, исковерканное, — но тоже *последствие*. И нашел в себе силу — понять, противостоять и не проклясть все то, чему поклонялся недавно сам и звал поклоняться других.

Это столкновение было трагическим и само по себе благодаря тому, что Огарев — на стороне противника.

Герцен — Огареву, 2 декабря 69 г.

Даже твой мозг, так ясно понимавший меня целых сорок лет, — не пробыешь теперь ничем.

Собр. соч., т. XXX, 279

Герой трагедии одинок — как в последний год одинок был Герцен.

Жюль Кларте вспоминает разговор с Герценом в последний год его жизни: "Для сильного человека одиночество — истинная свобода".* Ему, открытому, общительному, нуждающемуся в людях, — было тяжело. Но и по-другому он не мог. Иначе потерял бы больше, чем самых близких: потерял бы самого себя.

"Герцен был последний *одинокий* русский деятель", — писал Бакунин двум Натальям, — вдове и дочери, призывая их объединиться с ним. Да, одинокий. Но не последний. Неправ был Бакунин и в безоговорочно отрицательной оценке этого особенного герценовского одиночества.

* "Новый мир", 1959, №6.

Иногда один сильнее, чем многие. С горечью читая и перечитывая позднего Герцена, подчас приходишь к совсем уж тягостной мысли: а, может быть, в известных обстоятельствах, один даже сильнее, чем двое?

О вине Герцена за логические и практические последствия посеянных им идей писали и позже.

Запись в дневнике Блока от 26 марта 1919 г. — он делал доклад о Гейне, где говорил о крушении гуманизма и либерализма.

Горький предложил заменить слово "либералы" словом "нигилисты". Ожесточенно нападает Волюнский. Левинсон ехидно спрашивает, не виноват ли Тургенев. Я утверждаю, что первый виноват Тургенев. "И Герцен?" — спрашивает Горький. И Герцен.*

Гораздо важнее, однако, что о вине и возмездии первым спросил себя Герцен.

Когда говорят о трагической судьбе, часто имеют в виду неосуществленность.

Герцен — один из тех русских писателей, который в наибольшей мере осуществил себя. Ему было дано громадно много в начале. И сделано громадно много.

Добрая фея положила ему в колыбель не-сокрушимое здоровье, редкий ум, необыкновенный талант, силу воли, широту души. Он родился и вырос в дворянской семье, — для России того времени, — в самой свободной среде. Дворянин, — и не стеснен дворянством. Богат и не стеснен богатством.

* А. Блок. Собрание сочинений, т. VII, стр. 156.

Если верно, что каждый проводит всю жизнь в каком-то определенном возрасте, то таким возрастом для Герцена была высокая зрелость.

Самой природой он был задуман победителем.

В 1869 году зашатались основы его жизни. Разрушалось здоровье. Обострился начавшийся ранее диабет, с мучительными урологическими осложнениями.

Он мечтал о доме-усадьбе. Воспитанный в Покровском, быть может, и бессознательно, хотел для себя на склоне лет и для своих детей такого пруда, такого плеса, таких берез, такого дома с колоннами.

Хотел оседлости, устроенности.

А на долю ему выпали лихорадочные метания — Ницца, Цюрих, Виши, Флоренция, Женева, Брюссель, Экс ле Бэн, Париж.

Метался в поисках убежища.

Победитель испытывал поражение за поражением.

Крещение казнью декабристов, тюрьма, ссылки, эмиграция, баррикады 48 года в Париже, заря и закат революций, возникновение и кончина "Колокола", — все в историческом времени Александра Герцена. Все впору, в рост времени.

Человек, сформированный своим часом, ощущавший его пульс, — вдруг словно выброшен из времени, отставлен от современности. На авансцену истории вышли Нечаевы.

Но и тут сказалось величие Герцена, — раненый, уязвленный, подавленный, он продолжал идти, искать, оставаться самим собой.

Время определяло многое, но не все. В сложном переплетении временного и вечного не все оказалось подвластно самой могущественной силе, -- бегу времени.

Трагические вопросы, поставленные в произведениях Герцена, не устарели и позже.

В 1893 году в очередной раз возник вопрос об издании Герцена в России. Цензор Косович в своем отзыве писал:

Главные мотивы, разрабатываемые Герценом с такой до утомительности тщательностью и подробностью, для современного читателя ведь все или разрешены или сданы в архив. Таковы, например: крепостничество, гегельянство, индивидуализация личности, вред революций республиканского оттенка, перерождающихся формально в грубейший деспотизм...*

Если это всерьез -- то прошедшие годы опровергли глупо уничижительные рассуждения. Если это уловка, -- снизить значение Герцена, чтобы пропустили, напечатали, -- тогда цензор старался напрасно. Только после революции 1905 года Герцен начал возвращаться на родину уже не в заграничных изданиях.

А вопросы, им поставленные, не сданы в архив и сегодня.

И по высоте, по глубине мысли. И потому, что эти великие вопросы воплощены в долговечном "царственном слове" (Ахматова).

С нежностью, может быть даже с завистью к недостижимому, писал Герцен в некрологе:

* "Красный архив", 1930 г., №6.

Ворцель... трудился до последнего дня с той светлой ясностью, с тем кротким самоотвержением, которое дает успокаивающаяся вера и незыблемая надежда.

Герцену не было дано ни успокаивающейся веры, ни незыблемой надежды. Он был бесстрашен перед истиной, какой бы горькой истина ни была, сколь бы она ни противоречила его собственным сложившимся представлениям. До конца жизни не утеряти способности меняться, принимать иное, подчас и чуждое, -- всегда непременно оставаясь самим собой.

С. Булгаков полагал, что Герцен задавал карамазовские вопросы, но ему "суждено было испытать не радость положительных решений этих великих и страшных вопросов, а горечь сознания их неразрешимости".*

Скорее всего именно этим он и привлекал (и одновременно -- отталкивал) Достоевского.

С.Т. Аксаков -- младшему сыну.

Кажется, остается жалеть, что он (Константин Сергеевич) на всю жизнь оставался в своем приятном заблуждении (что все в допетровской России было отлично -- Р.О.), ибо прозрение невозможно без тяжких и горьких опытов. Так пусть его живет и верит Руси совершенству.**

Герцену так никогда не было нужно. В одном из писем Огареву: "А, что Николай Платонович,

*С. Булгаков. Душевная драма Герцена. Киев. 1902

** Цит. по: Вл. Соловьев, "Национальный вопрос в России", собр. соч., т. V, стр. 183.

если нам и этот идол Russland придется побо-
ку?!”

Любил же Россию ничуть не меньше, чем Аксаков. И в предчувствии смерти рвался на родину. Если не сам, — хоть детьми вернуться. Но и это не было дано.

Л. Толстой писал Черткову 9 февраля 88 года:

Читаю Герцена и очень восхищаюсь им и соболезную тому, что его сочинения запрещены; во-первых, это писатель как писатель художественный, если не выше, то уж равный нашим первым писателям, а во-вторых, если бы он вошел в духовную плоть и кровь молодых поколений с 50-х годов, то у нас не было бы революционных нигилистов. Доказывать несостоятельность революционных теорий — нужно только читать Герцена, как казнится всякое насилие именно самым делом, для которого оно делается. Если бы не было запрещения Герцена, не было бы динамита, и убийств, и виселиц, и всех расходов, усилий тайной полиции, и всего того зла. Очень поучительно читать его теперь. И хороший, искренний человек... Мало того, один человек, выдающийся по силе, уму, искренности, случайно без помехи мог дойти по этой дороге до болота и увязнуть и закричать: не ходите.*

Толстой определил, уложил Герцена в рамки, — пусть и широкие, — среди первых писателей России, но именно в рамки односторонне-определенные. А Достоевский глубже всех ощутил родственную ему трагическую разорванность — хотя у Герцена разрыв лишь начинался. И это тяготение Достоевского к Герцену важнее того, запечатлены ли реальные черты

* Л.Н. Толстой. Собр. соч., т. 86, стр. 121-122.

лондонского изгнанника в образе Версилова... (Впрочем, Достоевский, размышляя в "Дневнике писателя" о самоубийстве семнадцатилетней Лизы Герцен, решает проблему последствий тоже весьма односторонне.)

Силой огромного ума, исторического слуха, силой воображения, обостренных болью, Герцен дошел до сердцевины тех трагических противоречий, которые мучают людей и в последней четверти XX века. Он сам не знал, до какой степени был прав, когда писал: "Мы работаем для XX века".

Беды, боли, вылившиеся на его голову, воплощались в слово, несли прозрение. Это была боль честной, ищущей мысли. То познание, которое неминуемо приумножает скорбь. Но и то познание, которое продиктовало "Былое и Думы".

Прощаясь с Натальей Александровной во второй раз на страницах книги, Герцен и в эти страшные мгновения не позволил себе роскоши — веры в свидание за гробом. И в последний раз так подробно, так страстно размышляя о будущем, о социальном перевороте, он не позволил себе нравственного комфорта, не позволил утешиться в утопии. В хрустальном дворце будущего. Он был так же строг к своим мыслям о судьбе общества, как и к себе — человеку.

В 1920 году И. Иванов-Разумник сказал, — и его слова звучат вполне современно и сегодня:

Герген предвидел, что худшим врагом революционно-социалистического меньшинства будет революционно-социалистическое большинство.*

Но его жизнь и произведения поднимают проблемы гораздо более общие, универсальные: столкновение двух, -- для Герцена равновеликих начал, -- самоценной личности с ее короткой жизнью, -- и целого, будь то идея или сообщество, дружеский кружок, революционная партия, сеть корреспондентов "Колокола", -- или огромная нация. Поведение человека перед лицом неразрешимости этого столкновения.

* * *

В речи над могилой Герцена один из близких последнего периода, Г. Вырубов, сказал:

... настанет день, когда его соотечественники, яснее поняв свое прошлое, вспомнят об этой одинокой могиле. Над его надгробным камнем они воздвигнут памятник, и на этом памятнике будут начертаны слова: "Великому гражданину, великому изгнаннику -- благодарная Россия". -- А, если в будущем народы уничтожат распри, позабыв расовую ненависть и национальные предрассудки, -- тогда в надписи на памятнике, который Россия поставит Герцену, можно будет включить слова: "велики его заслуги перед человечеством". **

Вера Николаевна Бунина-Муромцева вспоминает об их с мужем поездке в Ниццу в 1910

* И. Иванов-Разумник. Герцен. 1920, стр. 147.

** "Вестник Европы", ноябрь 1909, стр. 296-97.

году: "Я очень увлеклась в те годы Герценом, как и всеми его современниками. Ян тоже ценил его, а потому это походило на паломничество, и мы долго, молча стояли над могилой."*

Сам Бунин называл религию Герцена -- религией Земли, говорил, что Герцена спасала вера в социализм, в идеи и заканчивал, вторя пушкинской речи Достоевского: "Да, назначение русского человека -- это, бесспорно, все-европейское, всемирное".

Боль герценовской мысли, боль герценовской души, неразрешимые "проклятые" вопросы, вызывает ответный отклик второе столетие.

Прежде всего у граждан России.

Не знаю, поставят ли мемориальные таблицы на герценовских домах в Швейцарии, да и не это важно. Важнее -- прочтут ли Герцена сегодня в России и в Европе. Где тоже необходим его голос.

* см. Б. Бабореко -- И.А. Бунин, 1967, стр. 145.

CHALIDZE PUBLICATIONS
505 Eighth Avenue,
New York, N.Y. 10018

КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Никита Хрущев, Воспоминания, карманный формат, цена -- 12.00

Никита Хрущев, Воспоминания, книга вторая, карманный формат, цена -- 12.00

Валерий Чалидзе, Победитель коммунизма. (Мысли о Сталине, социализме и России), цена -- 7.00

Коран. Перевод Крачковского, карманный формат, цена -- 20.00

Пакты о правах человека, карманный формат, цена -- 5.00

Николай Евреинов, История телесных наказаний в России, цена -- 15.00

Николай Валентинов, Встречи с Лениным, карманный формат, цена -- 12.00

Валерий Чалидзе, Иностранец в России, юридическая памятка, карманный формат, цена -- 6.00

Петр Гарви, Профессиональные союзы в России после революции, цена -- 7.50

Солженицын в Гарварде. Пер. с английского.
Цена 15.00

И. Яхот. Подавление философии в СССР
(20-30 гг.) Цена 15.00

Б. Рассел. История Западной философии. — 30.00

Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра.
Цена 15.00

П. Кушников. Армейский дневник 1917 года.
Цена 10.00

Законодательство о религиозных культах
в СССР. Цена 9.00

Р. Орлова. Последний год жизни Герцена. — 6.00

Евгений Гнедин. Выход из лабиринта. — 8.00

З. Фрейд. Толкование сновидений. — 15.00

Грузинская кухня. Цена 6.00

Русскоязычный Нью-Йорк — 1982. Цена 1.00

Александр Дюма. Ожерелье королевы. \$ 9. 50

Добавьте 50 центов за пересылку каждой книги.

Заказы направляйте по адресу:
CHALIDZE PUBLICATIONS
505 Eighth Avenue
New York, N.Y. 10018